

илья будрайтскис

ДИССИДЕНТЫ СРЕДИ ДИССИДЕНТОВ



Возможна ли просоветская и антисоветская позиция одновременно? Позиция, которая бы принимала советское наследие во всех его противоречиях? Илья БУДРАЙТСКИС (1981) — исследователь, политический и культурный активист. В центре его книги краткий исторический очерк о советских диссидентах-социалистах, тех, кто своим существованием напоминал о тотальной двусмысленности хрущевско-брежневского режима, его постоянном предательстве и дискредитации своего собственного изначального содержания. Другие статьи автора последних лет посвящены современным идеологическим функциям советского и предлагают инструменты для их критики.

обложка - Николай Олейников

ISBN 978-5-9907804-5-3
свободное марксистское издательство
серия новые красные, 2017

содержание

- Алексей Юрчак. Предисловие (5)
Вечная охота на Красного человека (7)
Интеллигенция как стиль (17)
Диссиденты среди диссидентов (30)
«Сатанинская мельница» и машинист Петерсон (88)
Две очереди (92)
Парадокс морального антиамериканизма (98)
Кто же стоит за троцкистским заговором? (103)
Интеллектуалы и Холодная война:
от трагедии к фарсу выбора (109)
Наследие без наследников (122)

Алексей Юрчак

Предисловие

Книга Илья Будрайтскиса — это глубокий анализ сегодняшней российской реальности и советского прошлого, их культурных явлений и социально-политических форм. Будрайтскис великолепно разбирает многочисленные мифы, которыми опутана эта реальность, показывая их несостоятельность. Это и миф о живучем «советском менталитете» и неумирающем «красном человеке», на которых всё чаще возлагают ответственность за авторитарную власть в сегодняшней России. Это и миф о том, что всё социалистическое прошлое можно свести к фигуре «тоталитаризма», а сегодняшнее российское общество описать в терминах возврата к нему; и миф о том, что ритуалы всеобщего покаяния или законы о «декоммунизации» излечивают от травм прошлого, а отсутствие подобных ритуалов объясняет сегодняшние проблемы. Ещё это мифы о том, что российское общество якобы поделено надвое — на либералов, любящих свободу, и народные массы, якобы традиционно жаждущие деспотической власти, и о том, что дикий капитализм является отражением настоящей «человеческой природы», а социалистические идеи этой природе противоречат.

Как показывает Будрайтскис, подобные мифы не просто подменяют собой критический анализ происходящего, но и совершают отрицательную работу, разделяя реальность на изолированные объекты, существующие якобы сами по себе, в отрыве друг от друга и от исторических контекстов, властных отношений и классовых интересов. Постоянный повтор этих мифов позволяет не акцентироваться на конкретных действиях конкретных властных групп, приведших к сегодняшней политической и экономической ситуации; он позволяет не думать об ответственности за эти действия и препятствует поиску альтернативных решений. Будрайтскис, напротив, занимается реконструкцией реальности, создавая площадку для её критического анализа.

Среди текстов, собранных в сборнике, некоторые предлагают новый взгляд на известные феномены. Например, феномен очереди, как показывает автор, нельзя сводить лишь к черте советского существования; очередь распространена и при капитализме, но здесь она принимает иные формы и подчас скрывается подчас под ширмой «свободы выбора». В других текстах разбирается мало изученный исторический материал — так, самое длинное эссе сборника является великолепным исследованием про левые диссидентские движения в послевоенном Советском Союзе, которые выступали с марксистской критикой КПСС, развивали идеи прямой демократии, изучали опыт союза коммунистов Югославии, евро-коммунизма и анархизма.

Тексты Будрайтскиса охватывают разные темы и периоды, но их объединяет чуткость к деталям контекста и умение ставить под вопрос догматические утверждения, независимо от того кто их автор. Они написаны прекрасным языком — ясным, точным, стилистически выверенным. Этот крайне важный сборник позволяет взглянуть на российское и многие другие пост-социалистические общества с новых позиций, уйдя от мифов и поставив их в реальный исторический и глобальный контексты. А главное — он позволяет подойти к осмыслению тех шагов, которые действительно необходимо предпринять для достижения лучшего будущего.

Алексей Юрчак — профессор Калифорнийского университета в Беркли, автор книги «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение».

Вечная охота на Красного человека

После драматических событий в России и Украине последних двух лет борьба с «наследием коммунизма» на постсоветском пространстве, похоже, вступает в новый период. Этот призрак, по мере временного отдаления от своего источника — действительности «реального социализма» — приобретает все большее значение. Его конкретные черты, хранящиеся в динамичной коллективной памяти, расплываются и исчезают, в то время как общие признаки, необходимые для производства завершенной идеологической фигуры, становятся все более четкими и понятными. Утверждается, что похороненный четверть века назад как целое, коммунизм продолжает свою жизнь после смерти — в виде неуспокоенного мертвеца, пережитка, отрывки прошлого, отравляющей жизнь новых поколений.

Популярное объяснение несостоявшегося транзита к рыночной нормальности в России в начале 1990-х сегодня состоит в отсутствии некоего специального акта «покаяния», после которого будет забит последний гвоздь в крышку гроба коммунизма. Этот акт, насколько можно понять, предполагает единовременное насильственное очищение памяти на всех уровнях — от монументов и названий улиц до индивидуального сознания.

Враг, с которым нужно сразиться, опасен именно потому, что принадлежит больше прошлому, чем настоящему, и его материальность вторична и условна. Вы можете снести все памятники Ленину, но это не значит, что призрак коммунизма исчез навсегда.

Более того, чем меньше у этого призрака внешних проявлений, тем могущественнее он становится.

Долгая жизнь одного пережитка

Тема внутреннего раба, «красного человека», который прощается, но не уходит, стала главным посланием нынеш-

него нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. В своей программной речи Алексиевич констатирует: «“Красный” человек так и не смог войти в то царство свободы, о которой мечтал на кухне. Россию разделили без него, он остался ни с чем. Униженный и обворованный. Агрессивный и опасный» [1].

Этот постсоветский человек, в конечном счете, является жертвой самого себя, собственного непреодоленного внутреннего рабства, неспособности принять и распорядиться собственной свободой. Рыночные реформы изменили внешние условия его существования, предоставив ему новые возможности, но оставили нетронутой его испорченную, искаленную душу. Тяжелое наследство этой внутренней испорченности определило и судьбу молодого поколения, которое воспользовалось «внутренней свободой», кредитами и ростом потребления, дав согласие на гарантирующую этот «хлеб земной» авторитарную власть [2]. «Красный человек», лишившись всяких материальных оснований, превратился в чистую моральную проблему, отказ от волевого решения которой будет приводить к его бесконечному воспроизводству.

Такая деисторизация «красного человека» превращает его в новый миф, вечный образ, соответствие которому Алексиевич предсказуемо находит в проблематике «Легенды о Великом Инквизиторе» Достоевского. «Красный человек» — это природа, но природа ложная, вторичная, подменившая подлинного человека, которому свойственны сострадание, доброта и способность жить в мире с другими и самим собой. Столкновение этих двух начал, внутренняя борьба в каждом конкретном человеке, оказавшемся в экстремальной ситуации (войны или катастрофы), составляет основной конфликт в творчестве Алексиевич.

К настоящему моменту эта борьба далека от завершения, и финальное сражение еще только предстоит. О «красном человеке» нельзя просто забыть, его не получится растворить в новой реальности. Алексиевич убеждена, что «он ис-

чезнет с кровью», через страдание и преодоление, и только тогда мы сможем обрести самих себя и «в конце концов мы станем как все» [3].

Знаменитый российский писатель Владимир Сорокин настроен также пессимистично: «постсоветский человек не только не хочет выдавливать из себя этот советский гной, а напротив, осознает его как новую кровь». Советский «зомби» лишает нас права на современность — вместо нее мы обречены жить среди гнилых остатков прошлого. Прорыв к возвращению в историческое время, возможен не просто через формальную процедуру покаяния, но через потрясение, очистительную катастрофу [4]. Принудительное возвращение к «нормальности», сравнимое с денацификацией Германии после Второй мировой войны, будет носить характер тяжелого, но необходимого пробуждения как после «тяжелой горячки или эпилептического припадка».

Именно к этому сознательному и преступному нежеланию похоронить «советский труп» сводится главная претензия к сегодняшней власти в России [5]. Эта власть принципиально не представляется продуктом тех же сложных и запутанных отношений настоящего, которые определяют, например, текущие военные конфликты, экономический кризис, крах социального государства в Западной Европе или подъем радикального исламизма на Ближнем Востоке. Российское государство, с его интересами, конфликтами, разделенным обществом и зависимой экономикой, в целом объявляется результатом коллективного безумия, исторической девиации, которую необходимо исправить при помощи хирургического вмешательства. Картина мира упрощается и приобретает отчетливые манихейские черты кровавой схватки будущего и прошлого, в котором последнее все равно обречено.

Актуализированная после российской аннексии Крыма в 2014 году идея «ожившего трупа» имеет своего предшественника — позднесоветский миф о «хомо советикус», монстре, выведенном в ходе чудовищного эксперимента над человеческой натурой. Этому голему, незаконно заполняющему

собой реальность, противопоставляет естественный «экономический человек», рациональность которого балансирует рынок и наполняет жизнью политический механизм либеральной демократии.

В социологии Юрия Левады и его последователей существование «хomo советикус» было научно установлено в ходе многочисленных опросов. Согласно определению Левады, отличительными чертами «советского человека» являются «принудительная самоизоляция, государственный патернализм, эгалитаристская иерархия, постимперский синдром». Этот «новый человек», выведенный искусственным путем еще в 1920-30-е гг., успешно воспроизводит себя к началу 1990-х и «характеризуется индивидуальной безответственностью, склонностью к переносу вины за свое положение на любых других: правительство, депутатов, чиновников, западные страны, приезжих». Изменение внешних условий, и в первую очередь самих социально-экономических оснований советского общества, не привело к восстановлению человеческой «нормальности»: «разрушение прежних образцов не сопровождалось серьезной позитивной работой по пониманию природы советского общества и человека, выработкой других ориентиров и общественных идеалов» [6].

Новое общество, капитализм, не мог быть построен некапиталистическим человеком, и на пути к изменению базиса опять встала надстройка, пережиток — старый способ существования, препятствующий новому.

Бить призраков по-сталински

Так же как в сегодняшнем мифе о «красном человеке» на пути к европейскому будущему и рыночной нормальности встают препятствия в виде теней прошлого, полноте и завершенности сталинского социализма в свое время мешали препятствия в виде пережитков капиталистического общества. Необходимость Большого террора объяснялась обострением борьбы не с реальным классом угнетателей, уже давно по-

терявшим власть и собственность, но с физическими представителями «бывших классов», с ходячими пережитками и тенями. Эти призраки давно умерших классов оказывались хитрее и опаснее самих классов, уже давно проигравших в открытой битве. Тактика зомби была куда сложнее тактики живых — это постоянное переодевание, бесконечная смена масок, способность просачиваться в любые трещины прогрессивного единства народа и правительства [7].

Призраки бывших классов, создававших все новые препятствия на пути строительства социализма, уже не имели определенного места в системе производства, а потому могли проникнуть в подсознание представителя любого актуального класса, рабочего или крестьянина. Порабощенной волей такого человека управлял призрак эксплуататора, заставлявший его мыслить, говорить и действовать от своего собственного имени против своих собственных интересов. Поэтому любое случайно сорвавшееся слово «объективно» служило невидимому врагу.

Получается, что настоящее сможет полностью стать самим собой, только преодолев элементы прошлого, постоянно ставящего палки в колеса. Любые ошибки правительства или противоречия, свойственные новому строю, принципиально нельзя анализировать исходя из их собственного содержания. Во всем оказывается виновато прошлое, которое пытается подменить собой подлинную жизнь и заставляет нас сражаться с призраками за собственное будущее. Борьба с «пережитками», таким образом, обретает насильственный и иррациональный характер — ведь действовать в мире теней можно лишь на ощупь, а их наличие проверяется с помощью специально воспитанного и недостоверного чувства: бдительности, нюха на врагов, «умения распознавать» и т.д.

Луи Альтюссер прямо возлагал на вульгарно-гегельянскую идею «снятия» прошлого ответственность за сталинские преступления. Там, где элементы, перешедшие от прошлого, лишаются качества реальности и противопоставляются некой «подлинной» реальности, которая не успела

осуществится до конца, открываются возможности для безграничного произвола. Ведь любым действительным отношениям, любым разногласиям и позициям, можно отказать в праве принадлежности к миру живых, объявив пережитками, которые необходимо уничтожить. В основе такого репрессивного подхода — представление о завершенности и непроницаемости прошлого, которое монолитом преграждает путь вперед. Так же, как своих собственных противоречий лишается настоящее, поработенное прошлым, само прошлое лишается собственной исторической драматургии и сводится к качеству препятствия.

Почему прошлое не снимается

Главным пороком этой модели является проведение черты, разделяющей настоящее и прошлое, от которого надо избавиться. Ведь «настоящее может питаться тенью своего прошлого и даже отбрасывать эти тени в будущее» [8].

Так, в России, в силу сложных отношений между надстройкой и базисом, политические или идеологические особенности нового режима, порожденного революцией 1917 года, смогли сохранить и воспроизвести элементы старого деспотического государства и придать им еще более страшный, бесчеловечный облик. Парадоксальным образом, эта активация старого, реставрация нависающего над обществом «этического государства», была произведена под лозунгом борьбы с «пережитками», для вытеснения которых требовался террор и чрезвычайные полномочия. Сталинистская декларация полного разрыва с прошлым, отрицание этого прошлого и поражения его в праве быть частью современности, привели к полной девальвации марксизма. Из критического метода, примененного к оценке своего собственного места в меняющейся социальной реальности, он выродился в уродливую и бесплодную схоластику, чья задача была сведена к оправданию режима как «вечного настоящего», завершающего историю страны и человечества.

Сегодня «борьба с пережитками» также стремится заменить собой выяснение причин современных социальных и политических конфликтов и приводит к дематериализации действительности. «Пережитки» превращаются в неуловимый и беспокойный дух, который также легко вселяется в институты, людей или камни, как и покидает их. Предлагаемые меры борьбы — декоммунизация (изгнание духа из неодушевленных предметов) и люстрация (экзорцизм в отношении государства и общества) — решают только часть проблемы. Призрак коммунизма будет приходить на помощь правительствам всякий раз, когда потребуются объяснить собственные ошибки или преступления.

«Пережиток» превращается в подлинную жизнь, по отношению к которой действительность — всего лишь мираж, а реальность неполна и недостаточно реальна, чтобы оценивать ее исходя из ее собственных противоречий.

Именно этот неверно поставленный «основной вопрос» позволяет осуществлять подмены и политические манипуляции, в результате которых живые люди борются с мертвецами и разрушают могилы, вместо того, чтобы находить настоящих противников из плоти и крови. Проблема в том, что прошлое никогда не может быть снято, а настоящее всегда соткано из разнообразных пережитков, уникальное сочетание которых и создает новое, новизна которого также всегда условна.

Так, не всякая трансформация сопровождалась коллективным покаянием национальных сообществ. Распад европейских колониальных империй (как считала Ханна Арендт, прямо предвосхитивших тоталитаризм) не произвел полноценной культуры покаяния и связанного с ней переворота общественного сознания. Более того, самый серьезный пример совершенного покаяния — Германия — пришла к нему в результате внешнего поражения, как к процедуре, от которой она не могла отказаться. Надежность такого покаяния, его единовременность и меру его искренности сложно обсуждать. Ведь речь идет об огромном количестве людей, каждый из которых имел свои собственные отношения с

ныне преступным прошлым. Коллективное покаяние значило ни что иное, как декларацию разрыва с прошлым в его абстрактной, фетишизированной форме.

Действительное преодоление наследия нацизма, в виде специфических черт послевоенного западногерманского государства (например, его скрытым благодаря абстрактному покаянию жестокости и готовности к тайным расправам) стало делом жизни радикального поколения 1960-70-х.

Юрген Хабермас связывал демократическое будущее Германии с дифференциацией культуры и государственной политикой, в которой первая представляет собой основанные на этическом выборе индивида или сообщества меланхолические отношения с историей, а вторая — верность общим конституционным и гуманистическим принципам. Разрыв с преступным прошлым не только является общей позицией государства, но — и это главное — создает новую фигуру немецкого гражданина, для которого вопрос экзистенциальной ответственности за собственную судьбу неотделим от «обязывающей меланхолии в связи с непоправимой жертвой». Процесс «преодоления прошлого», таким образом, проходит через каждое отдельное существование и создает «непрерывность жизненных форм, передаваемых будущим поколениям» [9].

В США ритуалы покаяния и окончательный разрыв с формальным неравенством (прежде всего — «Акт о гражданских правах» 1964 года) не привели к изживанию структурного расизма, так ярко недавно опять проявившего себя в проблеме полицейского насилия. Действительное преодоление этого расизма, связанного с социальным неравенством, начинается с отказа от суждения о расизме лишь как о предрассудке, дефекте сознания, который лечится при помощи покаяния и просвещения.

Что остается от советского?

Конечно, в сегодняшней путинской России существует наследие советского. Оно живет на всех уровнях — в осо-

бенностях массового сознания, в специфических традициях государственного аппарата, в частичной преемственности внешней политики «холодной войны». Наконец, оно живо в травмах постсоветской интеллигенции, которая осознает свою актуальную историческую миссию как борьбу с коммунистическим призраком. Но все эти элементы разорваны, они не составляют целого, которое можно было бы отделить от несветского, постсоветского и даже досветского. Ни по отдельности, ни в простом сложении, они не представляют какого-то ключевого противника, не формируют главный вопрос времени, ответив на который, можно уверенно сделать необратимый шаг из одной исторической эпохи в другую.

Миф о «красном человеке» является еще одной линией политического напряжения, которая накладывается на другие фрагменты распавшегося советского наследия в их уникальном сочетании с новыми. Сама растущая потребность в этом мифе отражает ностальгию российской (или украинской) интеллигенции по утерянной целостной картине реальности. Потребность в моральных обобщениях и пошлой генерализации, в свою очередь, основана на догматизме мышления, корни которого уходят в советский период. Догматическая постсоветская интеллигенция переживает не только распад окружающего ее общества, но и распад самой себя, потерю собственных социальных и этических оснований в постсоветской действительности. Используя конструкцию «пережитка», назначая на место своего главного врага вымышленного коммунистического призрака, интеллигенция стремится утвердить в реальности свое собственное существование, удостовериться, что сама не является тенью.

Отвержение теории «борьбы с пережитками» не означает простого примирения с действительностью и признания существующего положения вещей нормальным, разумным или закономерным. Ведь существующий режим, в отличие от советского не имеющий никакой стратегии и никакой динамики (кроме динамики самораспада), тоже пытается себя представить российскому обществу в качестве советского

«пережитка». Так, с марта 2014 года, одной из магистральных линий кремлевской официальной пропаганды было стремление легитимировать свои действия как начало «возрождения СССР», т.е. как первые скромные шаги на пути к преодолению последствий исторически несправедливого распада союзного государства. И надо признать, что эта пропаганда убедила многих. Проблема, однако, в том, что главная несправедливость распада советского строя состояла в появлении того правящего класса, который сегодня уверенно примеряет на себя костюм «красного человека».

Единственной альтернативой этой бесконечной игре с призраками, отвлекающей от гнетущей тревоги за будущее (и власть, и оппозиционных экзорцистов), может быть только напряженная работа по «расколдованию» советского. Отказывая ему в качестве «пережитка», который надо целиком принять или отвергнуть, необходимо постоянно делить его на составляющие: прогрессивные и реакционные, освободительные и закрепощающие, помогающие правящим элитам или, напротив, способные поставить под сомнение их право управлять.

Только так можно принять прошлое не как тень, нависающую над живыми, но как часть «ужасающе позитивной и активно структурированной реальности», которой «для обнищавшего рабочего являются холод, голод и ночь» [10]. Той единственной реальности, которая так нуждается в изменениях.

2016 г.

Среди понятий, которые следует переосмыслить на рубеже российских нулевых и 10-х, «интеллигенция» занимает, вероятно, одно из главных мест. Сам по себе этот временной рубеж отмечает переход от постсоветского порядка вещей к первым, пока очень смутным, проявлениям пост-постсоветского. Московские события декабря 2011 года обозначили одновременно и завершенность форм постсоветского, его «актуальность», и начало системного кризиса этих форм. К моменту этого недавно произошедшего поворота постсоветское окончательно приобрело качество постоянства, его перестали (что было популярно прежде) интерпретировать как «транзит», переходный период, в котором каждый элемент социальной катастрофы или то и дело возникавшее «чрезвычайное положение» легко находили оправдание как временные обстоятельства.

Похоже, главный итог нулевых как раз и состоит в коллективном осознании того, что «постсоветское» стало живучей и устойчивой формой, способной к самовоспроизводству на всех уровнях: 1) политического режима и типа отношений власти и общества (известного как «управляемая» или «имитационная» демократия [1]); 2) отношений собственности, предполагающих динамичные и подвижные границы между частными интересами и группами государственной бюрократии; 3) жесткой рыночной неолиберальной идеологии, ставшей не только безусловным ориентиром правящей элиты, но и органической идеологией общества, где жесткая конкуренция и стремление к капитализации собственной социальной позиции превратились в «организующую практику» (пользуясь дефиницией Альтюссера).

Массовое движение, появившееся в конце 2011 года, стало началом осознания тотальности этого порядка, его «правил игры», соучастником которой фактически является каждый. Однако ясно выраженная эмоциональная неготовность определенной части общества жить и дальше по этим

правилам очевидно столкнулась с непониманием того, что должно прийти на смену «постсоветскому». Самосознание этого движения, набор его политических требований, язык, на котором оно себя выразило, в полной мере принадлежали «постсоветскому» со всеми особенностями его социальной композиции и ее внутренними противоречиями.

Практически с самого момента возникновения этого движения его главный политический лозунг — «За честные выборы!» — был по умолчанию признан вторичным по отношению к этическому содержанию. Эта доминировавшая этическая мотивация гражданского участия также сразу маргинализовала и любые попытки сделать политические выводы из социальной неоднородности движения. Проблематичность определения его как «рассерженных горожан» или же «восставшего среднего класса» была быстро решена — через провозглашение просто движением «порядочных людей», объединенных не вокруг общих социальных интересов, но благодаря общим моральным принципам и общей культуре, которые выше любой политики.

Культурная общность рассматривалась как главное достоинство движения, как свидетельство его нравственной чистоты, внутренней теплоты и человечности, выгодно отличавшихся от сухого детерминизма общностей социальных. Например, Ольга Седакова, известная поэтесса либерально-христианского толка, определяла появившегося нового субъекта политики как «какой-то слой населения, который никогда прежде не собирался вместе». Это «спокойные, самостоятельно думающие, свободно говорящие» «русские европейцы», чьи манеры и стиль оказывались куда важнее готовности предложить альтернативу большинству, остававшемуся в положении пассивных наблюдателей. По свидетельству Седаковой, на улицу вышли «нормальные люди», которые впервые за долгие годы получили возможность собраться вместе и пережить момент узнавания себя друг в друге [2].

Первыми лицами этого движения на протяжении всей его пока недолгой истории были культурные деятели, способные удостоверить «нормальность» собравшихся. Собственно, именно определенный набор писателей, журналистов и музыкантов опосредовал этот радостный процесс «узнавания своих», а политики выступали в качестве важного, но вторичного атрибута встречи, призванного напомнить скорее о специфически выбранном для нее публичном пространстве (площади или улице), а не о ее содержании.

Сходное чувство «радости узнавания» описывали в своих воспоминаниях и многие участники московских событий августа 1991-го. Довольно популярные параллели между 1991-м и 2011-м (в основном обязанные тому, что в значительной мере участники и — что важнее — лидеры этих двух движений принадлежали к одному поколению) легко и обоснованно могут быть подвергнуты критике. С точки зрения экономики, социальной структуры и соответствующего общественного сознания между двумя эпохами лежит непреодолимая пропасть. Однако в обоих случаях за множеством системных и частных различий можно уловить общее — на уровне мышления, способа восприятия реальности и принципов, отделяющих «своих» от «чужих».

Это «общее» можно было бы назвать, используя определение Карла Манхейма, «стилем мышления». В нашем случае — стилем интеллигенции. Для Манхейма стиль представляет собой нечто одновременно укорененное в политическом и культурном выражении различных социальных групп и гораздо более подвижное и динамичное, чем идеология [3]. Эта подвижность стиля связана прежде всего с тем, что он балансирует между реальным положением той или иной группы в обществе, ее социальной практикой — и жизнью характерных для нее идей, ее способа мыслить. Что характерно, как пример стиля мышления Манхейм приводит немецкий консерватизм XIX века, когда политический и философский поход против рационализма «исторического союза просвещенной монархии и предпринимателя» объе-

динил исчезающие, не нашедшие себе места в новом порядке вещей классы. Рождение прусского консерватизма стало одним из типов реакции на колоссальное влияние Французской революции. Однако идеи этой революции, ее стиль мышления, как и оппозиция, обрели совершенно новую социальную почву. Наследие Просвещения оказалось орудием бюрократии, фактически проводившей «революцию сверху», в то время как радикальные интеллектуалы становятся рупором реакционной коалиции дворянства, мелких буржуа и других уходящих докапиталистических слоев. Союз консерватизма и романтизма родился из этого социального противостояния как опосредованное через рефлексию включение рациональных аргументов для защиты иррациональности. Развитие мысли находилось во взаимодействии с обороняющимися социальными группами не напрямую, но через стиль, производимый на уровне эстетической и философской мысли некими обособленными профессиональными кругами и затем проникавший, собственно, в классы на уровне политики [4].

В понятии стиля или в еще более глубоком политическом термине Манхейма — определяющем мотиве — важен момент взаимодействия, интеракции между коллективным сознанием социальных групп и миром идей, производимых «в пограничных слоях». Идеологи консерватизма далеко не всегда принадлежали к кругу уходящей аристократии или мелких ремесленников, но находились на достаточно близком расстоянии от них, чтобы уловить дух времени и оформить его на уровне мысли, которая вскоре стала определяющей для этих слоев. Говоря о традиции немецкого романтического консерватизма, Манхейм отмечает, что «нигде не увидеть ярче, сколь особое явление представляет собой интеллигенция, место которой в социальном организме трудно определимо из-за ее неустойчивого общественного положения и отсутствия прочных позиций в экономике» [5]. Однако именно эта «неустойчивость интеллигенции» делает ее идеологическим флагманом своего времени. Ведь

«судьбы мира мыслей находятся в руках людей социально не укорененных, слоя, классовое родство и общественное положение которого не подлежат точному определению, который ищет цели своих устремлений среди интересов слоев, занимающих в социальном порядке более определенное место» [6].

Собственно, множество марксистских определений интеллигенции начиналось с признания ее роли как «заместителя» классов, способного создать их «идею» за них и для них. Так, определение «органической интеллигенции» у Грамши предполагает, что «всякая социальная группа [...] органически создает себе вместе с тем один или несколько слоев интеллигенции, которые придают ей однородность и сознание ее собственной роли не только в экономике, но и в социальной и политической области» [7]. В отличие от традиционной интеллигенции, порождаемой и трансформируемой через изменение общественных отношений и затем «ассимилируемой» правящим классом для воспроизводства его идеологии, «органическая интеллигенция» изначально имеет политическую функцию — то есть способна эту идеологию формулировать. «Органическая интеллигенция» становится, таким образом, воплощенным сознанием класса, материализацией способности поддерживать свое положение в обществе — или, наоборот, настаивать на его радикальном пересмотре.

Однако стиль не подразумевает прямой и устойчивой связи между тем, кто его производит, и тем, кто воспринимает его в качестве собственного адекватного сознания. Более того, он может воспроизводиться в значительной степени бессознательно и, балансируя между мысленной конструкцией и жизненной практикой, не всегда соответствовать эпохам подъема и упадка определенных классов. Именно поэтому Манхейм берет оба этих определения — стиля и определяющего мотива — из области эстетики, подчеркивая близость процессов эволюции «способа мышления» и истории искусства. Художественный стиль находится в со-

стоянии постоянного изменения, бесконечного добавления мелких и второстепенных деталей, которые в результате меняют его до неузнаваемости, превращая в нечто совсем другое. Так же и консервативный стиль мышления способен переживать конкретные социальные обстоятельства своего появления и, как мы знаем сегодня, воспроизводиться в совершенно новых условиях.

То, что мы называем сегодня «интеллигенцией», имеет, на самом деле, немного общего в социальном отношении с советской интеллигенцией двадцатилетней или тридцатилетней давности. Однако ее стиль, то есть связь между ее политической практикой и способом мыслить, проявляет себя снова и снова — особенно ярко в периоды общественного подъема. А взаимодействие между различными производителями этого стиля — от изысканной Ольги Седаковой до популярного литератора Дмитрия Быкова, от академика до рядового пользователя Facebook — обнаруживает не столько обмен идеями или, тем более, их структурированное и социально обусловленное проникновение сверху вниз, сколько бессознательное воспроизводство на разных уровнях исключительно сходных способов мыслить [8].

Более того, общность стиля в контексте московских митингов 2011—2012 годов напрямую входила в противоречие с необходимой для расширения и успеха протестов способностью их участников осознать свое социальное положение (или различия в этом положении) и сделать из него полноценные идеологические выводы. Обращаясь к грамматическим понятиям, можно высказать смелое утверждение, что на пути рождения новой органической интеллигенции, способной раскалывать старые конструкции гегемонии, встала интеллигенция стиля, лишь воспроизводящая и укрепляющая элементы этой гегемонии.

Попробуем разобраться. В основе упомянутой радости встреч «русских европейцев» в публичном пространстве лежала этика, принципиально противопоставленная политике. Там, где осознание политических вопросов должно было

приводить к расширению социальных границ движения, этика, напротив, диктовала их постоянную фиксацию. Круг «порядочных людей» приносит удовлетворение его участникам ровно до того момента, когда в него попадают другие, разрушающие единство стиля. Этический мотив сохраняет ценность до тех пор, пока в равной степени понимается более или менее одинаково всеми его носителями. Культурная близость, противопоставленная социальной, отличается от последней своей прочностью и укорененностью в традиции, не подверженным стремительным метаморфозам экономического характера.

Ключевым элементом в этом случае выступает иллюзия преемственности. Определяющим мотивом здесь становится внеисторическое противостояние «порядочных людей» и дикой реальности, в которой народ и власть представляют две головы монстра исторической культуры подчинения и деспотизма. Рациональный анализ баланса сил в этой битве всегда пессимистичен («Давайте выпьем за успех нашего безнадёжного дела») — но тем более сильна иррациональная вера в необходимость этического восстания. Миф об интеллигенции гласит, что это этическое сообщество всегда — по крайней мере, на протяжении XX века — было окружено враждебной реальностью, откуда возникло так распространённое сегодня понимание «власти» в качестве своего главного противника.

Воображаемая преемственность исторически распадается на три сообщества интеллигенции, слабо или совсем не связанных друг с другом в социальном отношении: дореволюционной, советской и пост-советской интеллигенции.

Дореволюционная интеллигенция за долгую историю своего существования понимала преемственность не только этически, но и политически. Так, в своей известной книге Иванов-Разумник писал, что «история русской интеллигенции ведёт свое начало от группы, впервые поставившей своим девизом борьбу за народное освобождение; вторая половина XVIII века послужила только предисловием к этой

истории, которую лишь XIX век развернул во всей ее широте» [9]. Отречение от осознания собственного места в социальной структуре, которое стало главным объектом бескомпромиссной критики русской интеллигенции авторами «Вех», на самом деле никогда не было полным. Образование и навыки умственного труда всегда понимались как признак привилегированного положения. Этическая неготовность мириться со своей вынужденной близостью к высшим классам оборачивалась политической миссией борьбы с неравенством и угнетением — вопреки своим «объективным интересам». Преодоление разрыва с «народом» осуществлялось через «идею» народа или класса. И если такая инструментализация интеллигенцией универсальной теории и научного знания для решения своих узких морально-политических задач активно критиковалась справа [10] как признак социальной несостоятельности, то левые это же ее свойство рассматривали как признак самодовольства и социальной бесплодности. Тогда как авторы «Вех» считали, что русская интеллигенция слишком инфантильна, чтобы сделаться «органической» для правящих классов, марксисты считали ее слишком классово ограниченной и укорененной в модели разделения умственного и физического труда, чтобы стать «органической» для угнетенных [11].

Оставаясь связанной экономически с укладом российской капиталистической периферии, а политически — с молчащим (по крайней мере, до 1905 года) угнетенным большинством, интеллигенция сохранялась как неотъемлемая часть *ancien régime*. И в этом качестве она, как никто другой, смогла отразить всю полноту его внутреннего кризиса — и приблизить его конец.

Постреволюционная интеллигенция фактически рождалась заново — причем через отрицание той специфической функции, которую выполняла старая. Советская интеллигенция начиналась с прямого исполнения основной своей социальной задачи — через растущую профессионализацию играть отведенную ей ключевую роль в управлении произ-

водством и обществом. Но эта новая интеллигенция не имела ничего общего с тщетными попытками «нормализации» интеллигенции дореволюционной. Она представляла собой продукт радикального разрыва со старой интеллигенцией на социально-экономическом уровне, и в то же время пересматривала связь с ней на уровне культурном и политическом. Новая массовая интеллигенция 20-х — 30-х годов была полностью лишена этического переживания своего привилегированного положения и разрыва с «народом». Ее возникновение было прямо связано с большевистской установкой на «социалистическую культуру» (противоположной идее отдельной «пролетарской культуры»), которая могла бы открыть все предыдущие достижения высших классов для тех, кто был от них исторически отчужден. Это «открытие» культуры, главным агентом которого выступала новая интеллигенция, определялось преодолением разделения труда по мере приближения социалистического общества и постепенным отмиранием государственного принуждения.

Установление сталинской диктатуры к началу 30-х точно совпадает с «культурной революцией», главным результатом которой стали не только унификация и огосударствление «литературно-художественных организаций» [12], но и начало принципиальных изменений в сознании советской интеллигенции. Господство страха и «деполитизация» повседневности [13] органично сочетаются с осознанной фрагментацией общества через развитие конкуренции. Если коллективизация проводит новые линии разделения в деревне, стахановское движение разрушает солидарность рабочих, противопоставляя их друг другу в погоне за успехом и деньгами, то в среде интеллигенции происходит поворот к постоянному внутреннему разделению на подгруппы и слои, по-разному участвующие в разделении труда. За академической и культурной элитой, принадлежащей к высшей касте советского общества, следуют средние и низшие слои массовой интеллигенции, лишённые привилегий. И чем больше становится этот разрыв, тем сильнее ощущается во-

ображаемая корпоративная связь внутри растущей образованной части общества.

Интеллигенция обладает знанием, которое она не может прямо конвертировать в постоянное повышение своего качества жизни. Различие в зарплате между рабочими и техническими специалистами, врачами и учителями растет почти в геометрической прогрессии, приводя к увеличению общего процента людей, обладающих образованием.

Официальная интерпретация классовой структуры советского общества, возникшая после сталинской Конституции 1936 года, утверждала существование интеллигенции как «прослойки» между двумя основными «дружественными» классами — рабочими и крестьянством. Эта сомнительная конструкция исходила из того, что, несмотря на сохраняющееся в СССР разделение труда, его следствием является не антагонизм (как во всех известных прежде классовых обществах), но кооперация, основанная на общем стремлении к уровню производства, который необходим для перехода к бесклассовому обществу. Классы определяются только своим местом в производстве, но не отношением к нему (так как частная собственность отсутствует, а государство носит общенародный характер).

Положение интеллигенции как «прослойки» в этом контексте приобретает особенно большое значение. Ведь если в отношении двух трудящихся классов речь идет об историческом разделении, которое преодолевается через социалистическое строительство, то «прослойка» является новым социальным феноменом, не унаследованным от прошлого. Интеллигенция не только не стремится к растворению, но, напротив, осознает свою идентичность — и благодаря настойчивым идеологическим акцентам на классовых различиях, и благодаря оформляющей эти различия дифференциации в оплате труда и распределении привилегий.

Интеллигенция становится внутренним «другим» в советском обществе не столько естественным путем, сколько в результате осознанной государственной политики, соче-

тающей риторику равенства с постоянным напоминанием о различиях. Тогда как эта «прослойка» приобретает вполне устойчивое сознание собственной идентичности как своеобразного «класса в себе», значение высшего образования как привилегии продолжает неуклонно снижаться. Интеллигенты в первом поколении, уже осознавшие себя как отдельную группу со своими собственными интересами, оказываются на опасно близком расстоянии к остальным «дружественным классам», и прежде всего — к рабочим. Массовая советская интеллигенция неразрывно связана с производством и находится в постоянном взаимодействии с рабочим классом практически на всех уровнях повседневной жизни: на рабочем месте, в коммунальной квартире, на улице или в очереди за продуктами.

Этическая проблема, переживаемая значительной частью советской интеллигенции, представляет собой нечто, прямо противоположное переживанию интеллигенции до-революционной: на место травмы отчужденности от «народа» приходит травма неразличимости с ним. «Прослойка» оказывается в положении своеобразного угнетенного меньшинства советского общества, требующего признания и восстановления своего подлинного достойного места в обществе. Единственным адресатом этих требований на рубеже 50-х — 60-х становится власть.

Период «оттепели» был связан с надеждами интеллигенции на изменение своего положения сверху. К середине 60-х ее коллективной программой фактически становится «самореформа» советской бюрократии — эволюционный процесс, в ходе которого идет постепенное, но неуклонное обновление государственных и партийных кадров, а итогом является прозрачный механизм конвертации образовательного статуса в политическую власть. Конечно, на практике эти устремления не были настолько рационализированы и лишены искренней амбиции изменить советское общество к лучшему. Однако интеллигенция осознавала себя в качестве ключевого субъекта поворота к «демократическому социа-

лизму». Рой Медведев, один из наиболее проникательных представителей зарождавшегося диссидентского движения, одновременно входивший в число главных идеологов «самореформы», сформулировал целую программу неформального «партийно-демократического течения», стремящегося изменить систему изнутри. Медведев отмечал, что союзников можно найти и на верхних этажах партийного аппарата, хотя большинство «сторонников данного течения имеется среди работников партийного и государственного аппарата на его различных уровнях, особенно среди тех сравнительно молодых работников, которые пришли в аппарат после XX и XXII съездов партии» [14].

Верхушка интеллигенции, ее идеологи (прежде всего, литераторы и академические ученые) выступали и как группа политического давления, и как эксперты, влиявшие на принятие политических решений. Вторжение в Чехословакию в августе 1968-го покончило с этим и подвело черту под эпохой «оттепели» — во многом потому, что наглядно показало ничтожность экспертного влияния интеллигенции на власть.

Последовавшее за этим почти двадцатилетие «застоя» стало временем эмансипации советской интеллигенции — в первую очередь от всего, что напоминало ей о собственном происхождении. Интеллигенция обретала качества «класса в себе» не через осознание своего действительного положения в окружавшем ее обществе, но напротив — через освобождение от каких-либо претензий на его изменение. Проявления этого своеобразного «великого отказа» могли быть исключительно разнообразными и непохожими друг на друга: от конформизма «двойного сознания» до религиозных экспериментов, от этической аскезы «правозащитного движения» до воскрешения мифов «крови и почвы».

Участие большей части советской интеллигенции в демонтаже Советского союза и в приходе к власти авторов «радикальных реформ» стали пределом этого странного освободительного проекта, следствием которого стало уничтожение всех социальных оснований ее собственного суще-

ствования. Не только два бывших «дружественных класса», но и бунтующая «прослойка» стали главными жертвами социальной катастрофы первого постсоветского десятилетия.

Если советская интеллигенция обладала социальным единством, породившим определенный стиль мысли, то постсоветское сообщество «нормальных людей» не обладает ничем, кроме стиля, унаследованного от этого оставшегося в прошлом единства. Появившийся благодаря социальным институтам одного времени, сегодня он существует вопреки реальности принципиально иного периода. Стиль, однако, оказывается таким живучим не только в силу инерции. На фоне продолжающегося разрушения интеллигенции как социальной общности, нынешняя правящая элита заинтересована в сохранении ее особого сознания. Стиль становится важным элементом политического разделения, которое проводится сверху и очевидно препятствует интеллигенции взять на себя ответственность за собственную судьбу, то есть, собственно, стать «органической интеллигенцией», способной сделать сознательный выбор в пользу большинства, отчужденного от власти и собственности.

Потенция пересмотра постсоветского порядка вещей, пока непоследовательно, но явно проявившаяся на рубеже нулевых — 10-х, требует и радикального пересмотра самого понятия интеллигенции — как центра политики, способного постоянно создавать новые очаги конфликта и солидарности.

2013 г.

Диссиденты среди диссидентов

Близость исторической дистанции делает для нас советскую историю одновременно и недавним прошлым, и все еще современностью. Каждый из актуальных вопросов, связанных с сегодняшней российской политической традицией, специфическим характером экономических и социальных отношений, генезисом правящей элиты или особенностями политической культуры, неизбежно возвращает нас к поиску ответов в недрах истории советского общества.

«Представления об СССР искажались и все еще искажаются вследствие двух наиболее часто повторяющихся ошибок...», — писал в своем классическом труде «Советский век» Моше Левин. «Первая состоит в том, что исследование Советского Союза чаще всего подменяется антикоммунизмом. Вторая является следствием первой и состоит в сталинизации всего советского феномена, словно это был один гигантский ГУЛАГ от начала до конца»[1]. Нужно ли говорить, что подобная «сталинизация», автоматически переносимая на весь период существования СССР, наглухо закрывает возможность подлинно глубокого исследования советского общества, его внутренних противоречий, его социальной природы.

Удивительно, но часто представление о советском обществе как о покорном большинстве, пассивно поддерживающем политику правящей элиты, разделяется и теми, кто пытается описать и проанализировать феномен советского инакомыслия, — или, более конкретно, того явления, которое принято определять как диссидентское движение. Инакомыслие представляется как заранее обреченный этический выбор немногих, сделавших выбор жизни «не по лжи» и тем самым противопоставивших себя не только государству, но и молчаливому обществу.

Диссидентское движение слишком часто принято отождествлять с движением правозащитным, а значит — движением как бы анти-политическим, осуществившим принци-

пиальный отказ от политики в пользу этики. Даже сами по себе устоявшиеся термины «диссиденты» и «инакомыслие» представляются довольно проблематичными. Более того, их широкое использование часто связано с явной подменной понятий — подразумевается, что все оппоненты официальному курсу КПСС на протяжении нескольких десятилетий, с середины 1950-х до середины 1980-х, имеют общую историю и судьбу, обозначенные «несогласием», нежеланием «мыслить как все». Конечно, и социалисты, и националисты, и либеральные правозащитники в равной степени сталкивались с прямыми государственными репрессиями, осуждались по одним и тем же статьям УК, вписывались в общее пространство циркуляции самиздата. Это наличие общего врага и схожих механизмов взаимодействия не только не отменяло различий, но и по-особому их проблематизировало, делая столкновения позиций значимыми и для настоящего, и — возможно, в первую очередь — для будущего.

Знакомство с историей диссидентского движения в СССР обнаруживает наличие острых политических дискуссий и влияние его разнообразных идеологических тенденций как на широкие круги интеллигенции, студенческой и рабочей молодежи, так и на разные уровни государственного и партийного аппарата. Можно сказать, что это история своего рода инкубатора идей, которые нашли много позже свое выражение в разных политических и мировоззренческих традициях постсоветского периода.

Несмотря на то, что в последние годы появляется все больше научных публикаций, посвященных отдельным социалистическим группам в постсталинском СССР, история левых диссидентов как явления остается ненаписанной. Остается надеяться, что этот краткий (и далеко не совершенный) очерк поможет сделать еще один шаг в этом направлении.

Впрочем, история диссидентов-социалистов, отвергавших как практику «реального социализма», так и либеральный капитализм, представляет не только академический

интерес. Это принципиальная часть наследия, без которой невозможно осознать преемственность современного левого движения в России.

Начало

Начало движения инакомыслящих в СССР принято относить к середине 50-х годов, напрямую связывая его с процессами хрущевской «десталинизации» и атмосферой широких общественных и культурных дискуссий, последовавших за XX съездом.

Рубеж 1950-60-х также стал периодом обострения социальных противоречий советского общества, стихийных массовых выступлений и забастовок — как реакции снизу на рост социального неравенства, отсутствия производственной демократии, бюрократических диспропорций плановой системы, произвола партийных и правоохранительных органов на местах, нерешенности национального вопроса на окраинах. Наиболее известные примеры подобных выступлений — массовые беспорядки в Темиртау в августе 1959, в которых приняли участие сотни молодых людей, приехавших на поднятие целины, русско-чеченские столкновения в августе 1958 г. в Грозном, волнения и погромы отделений милиции и партийных учреждений в Муроме (июнь 1961) и Александрове (июль 1961), и, конечно, знаменитая забастовка рабочих Новочеркасска в июне 1962 года [2].

Рост общественного недовольства в самом Советском Союзе происходил на фоне кризиса сталинистских режимов в Восточной Европе и рабочими протестами в ГДР, Польше и Венгрии.

В это время в крупных городах и областных центрах возникают молодежные группы, ориентированные на независимый анализ современного им общества с марксистских позиций и поиск стратегии реформы социализма снизу, через развитие производственной демократии и рабочего самоуправления.

Антисталинские молодежные группы

Непосредственными предшественниками социалистов времен Оттепели можно считать антисталинские молодежные группы конца 1940-х — начала 1950-х. Наиболее известные из них — «Коммунистическая партия молодежи» (Воронеж) и «Союз борьбы за дело революции» (Москва).

Коммунистическая партия молодежи, «нелегальная молодежная организация с марксистско-ленинской платформой», была создана в Воронеже учениками девятого класса мужской средней школы Борисом Батуевым (сын второго секретаря Воронежского обкома ВКП(б) В.Батуева), Юрием Киселевым и Валентином Акивирином. Осенью 1948 года в группу вступил Анатолий Жигулин, воспоминания которого под названием «Черные камни» до сих пор являются главным свидетельством о деятельности КПМ. Группа представляла из себя прообраз централизованной подпольной партии, руководство которой осуществлялось ЦК и Бюро ЦК КПМ, состоявшее из четырех человек. К моменту раскрытия группы, по утверждению Жигулина, в нее входило 53 человека. КПМ ставила своей задачей изучение и распространение в массах подлинного марксистско-ленинского учения, конечная цель партии формулировалась как «построение коммунистического общества во всем мире»[3]. Группа имела ярко выраженную антисталинскую направленность — члены КПМ были знакомы с характеристикой Сталина из ленинского «Письма к съезду» и выступали против его «обожествления». Стратегия КПМ была основана на «бескровной революции» — постепенном внедрении законспирированных членов организации в партию и государственный аппарат. «Через такое вращение в руководящие, научные, литературные, военные слои нашего общества людей, верных ленинизму мы... сможем изменить духовно-нравственную атмосферу нашей действительности», — считали лидеры КПМ [4]. В 1949 году группа была раскрыта МГБ, ее лидеры арестованы и осуждены ОСО на длительные сроки заключения в лагере.

В 1950-51 гг. в Москве действовала нелегальная группа «Союз борьбы за дело революции». Учредители группы — студенты-первокурсники Н. Улановская, Е. Гуревич, В. Мельников, Т. Рабинович. В программном документе группы «говорилось о ...перерождении социализма в государственный капитализм, о том, что власть Сталина — это бонапартизм». В 1951 году группа была раскрыта, и, в контексте разгоревшейся репрессивной кампании против «космополитизма», охарактеризована следствием как «еврейская террористическая антисоветская молодежная организация» [5]. Приговор был исключительно жестоким даже для того времени — трое участников «Союза борьбы за дело революции», Б.Слуцкий, В.Фурман и Е.Гуревич, были приговорены к расстрелу, еще 10 человек — к 25 годам лагерей [6].

Несмотря на принципиальные различия контекстов позднего сталинизма и хрущевской Оттепели, определенно можно найти общие черты в молодежных социалистических группах рубежа 1940-х — 1950-х и 1950-х — 1960-х. Если в программном отношении — это антисталинизм, ориентация на аутентичное наследие Маркса и Ленина, анализ советского общества как продукта бюрократического перерождения, то в организационном — стратегия создания небольшой законспирированной группы, осторожно, но последовательно расширяющей собственные ряды. «В большинстве случаев каждый такой кружок был замкнут в себе, лишь некоторые из них были связаны с двумя-тремя другими такими же кружками и связи эти не шли далее совместных совещаний» [7], отмечала Л.Алексеева.

Социальный состав социалистических групп в 1940-50-е можно определить как преимущественно студенческий и аспирантский, хотя с начала 1960-х в подобных сообществах появляется все больше молодых специалистов, рабочих и даже госслужащих, а их средний возраст заметно поднимается.

Оттепель

Со второй половины 1950-х, сначала в Москве и Ленинграде, а затем и в других городах СССР появляются многочисленные, изолированные друг от друга группы, ориентированные на критический марксистский подход как к наследию прошлого, так и к официальной хрущевской линии КПСС.

Для большинства подобных групп исходным пунктом такого анализа являлся вопрос о природе сталинизма. Несмотря на то, что итоги XX съезда были в целом положительно восприняты в этой среде, официальная трактовка «культы личности» представлялась неубедительной и половинчатой, а политика Хрущева давала большие основания сомневаться в реальном разрыве со сталинской практикой. Более того, лицемерие хрущевского руководства, осуждавшего Сталина за нарушения партийной демократии, и в то же время, например, в худших бюрократических традициях организовавшего травлю «антипартийной группы» Молотова и Кагановича, давало серьезные основания для вывода об отсутствии курса на серьезные реформы сверху.

Напряженный социальный фон Оттепели делал еще более актуальными вопросы — на самом ли деле СССР является государством рабочих, чьи интересы оно защищает, какова подлинная социальная структура советского общества, наконец, возможна ли социалистическая альтернатива всевластию бюрократии? В поисках ответов участники социалистических кружков заново обращались к общедоступным текстам Маркса и Ленина, находили в библиотеках изложение взглядов внутривнутрипартийных оппозиций 1920-х., привлекали к выработке собственного анализа работы Антонио Грамши, немецких социал-демократов и русских эсеров начала XX в. Нужно отметить также интерес к концепции югославского самоуправленческого социализма, а также реформаторским элементам в правящих партиях восточноевропейских стран (в особенности, в Польше).

Одной из наиболее известных марксистских групп конца 1950-х был кружок (известный также как «Союз патриотов»), созданный в мае 1957 года выпускниками исторического факультета МГУ Л. Краснопевцевым, Н. Покровским, Л. Ренделем, М. Чешковым и Н. Обушенковым [8].

Лев Краснопевцев, впоследствии лидер группы, так описывал положение на истфаке МГУ накануне ее создания: «К 1957 г. Университет (особенно его гуманитарные факультеты) пришёл в крайне тяжёлом состоянии. Если в аппарате карательных органов, сельского хозяйства и др. отраслей управления за 1953-1956 гг. произошли большие изменения... то в МГУ сохранились даже самые запятнанные «служители культа» ...они отделались в 1953-56 гг. лёгким испугом, отсиделись на дачах в течение нескольких самых горячих месяцев, а в 1957 г. снова начали вылезать на поверхность, чтобы взять реванш за XX съезд. Их оплотом была кафедра истории КПСС Исторического факультета». Краснопевцев вспоминал, что в «1955-1956 гг. студенческая молодежь Московского университета заметно активизировалась, сам университет стал напоминать тогда бурлящий улей, оппозиционность настроений была очень большой...» [10].

По свидетельству Краснопевцева, на него и некоторых других будущих участников кружка оказали огромное влияние события 28 июля 1956 года в польском городе Познань, где полицией было жестоко подавлено массовое выступление рабочих завода им. Сталина. Марат Чешков вспоминал, как «на комсомольском собрании мы все это обсуждали [события в Познани 1956 г.]... часть комсомольцев сочувствовала познанскому восстанию. Мы считали, что и у нас снизу пора что-то делать, достаточно уже обещаний было» [11].

Возвращение в руководство ПОРП В. Гомулки и начало реформ в Польше (известных как «Польский Октябрь») породило огромный интерес к польскому опыту со стороны будущих участников группы. Н. Обушенков, в сентябре в рамках научной командировки посетивший Варшаву, специально научился читать по-польски и начал выписывать газе-

ту «Попросту» — тогдашний рупор восточноевропейского «ревизионизма». Затем в Польше побывал и Л. Краснопевцев, которому удалось встретиться с некоторыми авторами «Попросту», в частности, с Э. Лясотой [12].

Встречи членов группы с польскими «ревизионистами» проходили позже и в Москве. Будущие участники группы внимательно следили за событиями осени 1956 г. в Будапеште, читали доступные номера газет французской и особенно итальянской Коммунистических партий — «Юманите» и «Унита».

Общим для Краснопевцева и его товарищей была надежда на процесс реформ сверху, на последовательную десталинизацию и демократизацию СССР и стран Варшавского договора, и принципиальная уверенность в бесперспективности и вредности восстания снизу. «Что касается поляков, то мы поняли, что они совершили очень верный шаг, пойдя на консолидацию с Гомулкой», вспоминал Л. Краснопевцев, «...Гомулка смог оградить своих соотечественников от расправы будапештского типа... к этому времени относится осознание необходимости борьбы с существующей системой» [13]. Под борьбой подразумевалась, конечно, идейная борьба с наследием сталинизма. С конца 1956 года Краснопевцев начинает серьезную работу над рукописью, ставшей программным документом всей группы.

Эта рукопись, «Основные моменты развития русского революционного движения в 1861-1905 гг.: антигосударственный радикализм и государственные интересы», была впоследствии изъята при обыске и стала одним из главных документов обвинения. Идеология группы Краснопевцева, по довольно пристрастной характеристике С. Пирогова, была «синтезом государственного патриотизма с марксистской официальной фразеологией» [14].

Сегодня судить о круге идей группы Л. Краснопевцева достаточно сложно — сами ее бывшие участники склонны описывать ее как демократическую, социалистическую и антисталинистскую. В то же время некоторые члены других со-

циалистических групп, оказавшиеся впоследствии в одном лагере с Краснопевцевым и его поделщиками — напротив, изображают их как авторитарную секту, ориентированную на интеграцию в правящую элиту и настроенную в большей степени антихрущевски, чем антисталинистски [15]. Надо признать, что такая оценка была сформирована во многом под впечатлением от позиции Краснопевцева и его сторонников в лагере, где они, в отличие от других политзеков, согласились на добровольное сотрудничество с администрацией [16]. Тем не менее, линия, обозначенная Краснопевцевым в его работе о революционном движении, может быть без сомнения охарактеризована как «государственная».

В первой части книги, охватывающей исторический период с 1861 года до революции 1905 года (вторая часть, доходившая до 1917 года, так и не была закончена), Краснопевцев писал о фатальном для судьбы России разрыве власти и интеллигенции (занявшей антигосударственные позиции), который обернулся столкновением блестящих умов страны между собой. Сталинизм оценивался как следствие бланкистских тенденций дореволюционного большевизма. Приход Сталина к власти, согласно Краснопевцеву, был исторически обусловлен вакуумом власти, образовавшимся после смерти Ленина [17].

Таким образом, задача молодого поколения интеллектуалов, к которому себя относили Краснопевцев, Рендель и другие члены группы, заключалась в том, чтобы найти новые основания для модернизации советского общества, — не противопоставляя себя власти, но предлагая ей новые решения.

Летом 1957 года, в разгар кампании против «антипартийной группы» в руководстве КПСС, Краснопевцев и его товарищи составили и распространили в разных районах Москвы листовку против «государственного переворота», совершенного Хрущевым.

Вскоре, в августе 1957-го, девять членов группы (Л. Рендель, В. Меньшиков, В. Козовой, М. Чешков, М. Семененко, Л. Краснопевцев, Н. Покровский, Н. Обушенков и М. Голь-

дман)[18] были арестованы, и в феврале 1958 года осуждены на различные сроки лагерей. В мордовском Дубравлаге, где они отбывали наказание, группа продолжала некоторое время свою деятельность.

Практически одновременно с раскрытием группы Краснопевцева в МГУ (но вне всякой связи с ним), на том же самом историческом факультете осенью 1957 года вокруг студентов третьего курса А. Иванова, В. Краснова и В. Осипова возникает небольшой неформальный кружок, члены которого проявляли интерес к идеям анархизма. Хотя точнее было бы охарактеризовать взгляды членов кружка как эклектичный набор самых разных идей, связанных одной общей чертой — их вызывающей несовместимостью с официальным университетским марксизмом. Так, на формирование взглядов Владимира Осипова, по его собственному признанию, решающее влияние оказали произведения Фридриха Ницше, а также роман Джека Лондона «Мартин Иден».

С конца 1956 года, независимо друг от друга, Владимир Осипов и Анатолий Иванов, окончательно разочаровавшись в официальном марксизме, напряженно работают в читальных залах Исторической и Ленинской библиотек над поиском теоретических оснований своей позиции. Так, А. Иванов «читая... труды по этнографии и лингвистике... наткнулся на работы Бакунина и начал штудировать их, видя перед собой прекрасный образчик критики Маркса... позднее, он уже мог цитировать Бакунина страницами и “заразил”... примкнувшего к кампании Осипова» [19].

25 декабря 1957 года В. Осипов выступил на семинаре по истории КПСС с докладом «Роль комитетов бедноты в преобразовании деревни», в котором подверг резкой критике аграрную политику РКП(б). Как вспоминал Осипов, «доклад вызвал настоящую бурю, меня прорабатывали, должны были исключить из комсомола» [20]. А уже 28 декабря, в разгар чистки МГУ от политически ненадежных элементов, спровоцированной делом Краснопевцева, бюро комсомола факультета потребовало отчислить А. Иванова (который ни-

когда не был членом ВЛКСМ) и В. Осипова. В итоге Иванов был действительно отчислен, и затем с трудом восстановился на заочном отделении.

Маяковские чтения

Летом 1958 года в Москве происходит важное событие, оказавшее огромное воздействие на всю последующую историю диссидентского движения. На митинг, посвященный открытию памятника Владимиру Маяковскому, собираются сотни молодых людей. 28 июля, после выступлений партийных функционеров и статусных фигур советской литературы — Тихонова, Суркова и Твардовского, — свои стихи начинают читать самодеятельные поэты из публики.

«Такой неожиданный, незапланированный поворот событий всем понравился, и договорились встречаться регулярно» — вспоминал Владимир Буковский [21] — «стали собираться чуть не каждый вечер, в основном — студенты... иногда возникали дискуссии об искусстве, о литературе... создавалось что-то наподобие... Гайд-парка». Постоянными участниками собраний у памятника Маяковскому становятся многие известные в будущем фигуры диссидентского сообщества — В. Буковский, Ю. Галансков, И. Бокштейн, Г. Суперфин и многие другие. Завсегдатаями чтений стали также В. Осипов и А. Иванов. Именно на площади Маяковского они знакомятся с Анатолием Ивановым (Рахметовым) и начинают проводить регулярные встречи на квартире последнего в Рабочем поселке, вокруг которых образовывается политический кружок.

Общее настроение встреч на площади Маяковского нельзя было назвать радикально-оппозиционным. Это была молодежь, стремившаяся к творческой самореализации, разрыву с моральным наследием сталинизма — собственно, верная духу Оттепели. «Все наше поколение было антисталинским, — вспоминал Игорь Волгин, один из первых энтузиастов чтений на «Маяке» [22] — никто не мыслил

возможности возрождения сталинизма, но никто и не связывал свое будущее с борьбой против советской власти... Мы видели пороки системы, но не считали болезнь летальной. Наше дело — ускорить процесс выздоровления, действовать... изнутри, ибо мы часть этого организма». Однако даже лояльная, не сильно политизированная, но неподконтрольная общественная активность вскоре вызвала довольно настороженное отношение властей к встречам у памятника Маяковскому. Уже к началу 1959 года, после ряда профилактических бесед с наиболее активными участниками, чтения прекращаются, чтобы возобновиться спустя почти полтора года. Тем не менее, в первый период существования «Маяка» взгляды Иванова, Осипова и их кружка были маргинальны и совершенно нехарактерны для подавляющего большинства участников чтений.

«Марксизм нам не нравился, но в то же время мы не хотели переходить в лоно буржуазной идеологии», вспоминал Осипов, «искали “третий путь” — за народ, за рабочий класс, за социальную справедливость, но без марксизма и коммунизма». В это же время А. Иванов пишет работу «Рабочая оппозиция и диктатура пролетариата» (так и незавершенную) [23], в которой противопоставляет два направления в социализме — неправильное, опирающееся на Маркса и Ленина, и оппонирующее ему, идущее от Бакунина через «Рабочую оппозицию» Шляпникова 1921 г. к югославской модели рабочего самоуправления и венгерскому восстанию 1956 года. По свидетельству В. Осипова, «это была научная работа, но звучала она очень современно, как хорошая публицистика» [24]. Работа зачитывалась и активно обсуждалась на собраниях кружка в Рабочем поселке, в котором, помимо Осипова и двух Ивановых, принимали участие поэт и переводчик А. Орлов, Е. Щедрин, Т. Герасимова.

Еще в начале 1958 года А. Иванов по просьбе студента МЭИ И. Авдеева написал статью «Ждущим» — о деле Краснопевцева (хотя сам Иванов не имел до этого контактов ни с одним участником группы Краснопевцева и знал эту историю по

слухам, активно циркулировавшим среди студентов МГУ). В статье, подписанной псевдонимом «Манулин», говорилось о том, что многие советские люди понимают необходимость изменений, но лишь немногие — такие, как Краснопевцев и его товарищи — действительно попытались что-то сделать. Авдеев, увозит статью в свой родной город Новокузнецк (тогда — Сталинск-Кузнецкий) и там быстро попадает в поле внимания КГБ, сотрудники которого 5 декабря 1958 г. провели на его квартире обыск, изъяли статью и, быстро установив ее авторство, передали материалы на А. Иванова в Москву. 31 января 1959 г. Иванов был арестован прямо в читальном зале Исторической библиотеки, а В. Осипов вскоре был исключен из комсомола и отчислен из МГУ.

В августе 1960 г. Иванов, признанный на суде неумолимым и проведенный более года в печально известной большим количеством «политпсихов» Ленинградской спецпсихбольнице, вышел на свободу. К этому времени чтения на площади Маяковского, прекратившиеся в 1959-м, возобновляются по инициативе В. Буковского, С. Гражданкина и В. Абдулова. Второй период существования «Маяка» был отмечен гораздо более ярко выраженным оппозиционным настроением. К октябрю 1960 г. вокруг Осипова и А. Иванова (взявшего себе псевдоним «Новогодний») складывается группа, игравшая ключевую роль в регулярных собраниях у памятника. В нее входили А. Иванов-Рахметов, известные в будущем диссиденты В. Хаустов, Э. Кузнецов (знаменитый впоследствии борец за свободу эмиграции и организатор неудачной попытки угона советского пассажирского самолета в Израиль в 1970 г.), Ю. Галансков, В. Сенчагов, поэты А. Шухт, А. Щукин, В. Вишняков. «Довольно быстро в этой пестрой кампании стало заметно деление на две группы — “политиков” и “поэтов» — отмечает Н. Митрохин, “политики” хотели оформить людей с площади Маяковского в некое оппозиционное движение, “поэты” — предпочитали заниматься чистым искусством» [25].

Зимой 1960-1961 гг. в выходные, на частных квартирах происходят регулярные встречи «политиков», большинство

которых идентифицировали себя как «анархо-синдикалисты». В Исторической библиотеке Анатолий Иванов «Новогодний» и Владимир Осипов читают и конспектируют работы Делеона «Рабочие советы в Югославии», Сореля «Размышления о насилии», Бакунина «Государственность и анархия», Каутского «Против Советской России».

28 июня 1961 года Осипов представил приятелям свою программу создания подпольной антиправительственной организации анархо-синдикалистского толка. Программа была написана в единственном экземпляре и зачитана Иванову, Кузнецову, Хаустову, Сенчагову и представителю Галанскова — Е. Штеренфельду в Измайловском парке. После обсуждения программы — текст ее был тут же сожжен [26].

В это же время в Муроме (30 июня) и Александрове (9 июля) Владимирской области прошли народные волнения, носившие преимущественно антимилицейский характер [27] — толпы штурмовали здания городских управлений внутренних дел.

На площади Маяковского о событиях в Муроме узнали почти сразу. Было решено немедленно отправить туда своих представителей для сбора информации и сделать по горячим следам листовку. Кузнецов и Сенчагов съездили в Муром за сведениями и там же узнали об аналогичных событиях в Александрове. Вскоре Осипов, Кузнецов и Хаустов также съездили в Александров — расспрашивали очевидцев. Однако листовка так и не была составлена. Тем не менее, это был практически единственный случай, когда группа диссидентов-социалистов пыталась наладить связь с участниками массовых стихийных движений хрущевского периода.

По свидетельству Осипова, группа, которая приняла политическую программу на встрече в Измайловском парке летом 1961 года, была «организацией, со своими секретами, тайными планами, но существовал и более широкий круг — на площади» [28]. Однако границы между законспирированной группой и широкой средой участников чтений на площади Маяковского оставались достаточно неопределен-

ными. Когда А.Иванов поделился с Осиповым, Кузнецовым, Хаустовым и Галансковым своими мыслями о возможности покушения на Хрущева, эта идея, совершенно умозрительная и не предполагавшая никакого конкретного террористического плана, быстро стала достоянием еще нескольких «маяковцев». Галансков, который воспринял разговоры Иванова всерьез и принял твердое решение предотвратить возможный теракт, рассказал об идее покушения В. Буковскому и А. Шукину. Последний, в свою очередь, рассказал об этом В. Сенчагову, который был сильно напуган и решил обратиться за советом к своему старшему товарищу, известному латиноамериканисту Киве Майданику. Итогом обсуждения стал донос Сенчагова в КГБ, в котором, он, правда, стремился отделить «экстремистов» Осипова, Кузнецова и Иванова от хороших ребят, просто интересовавшихся поэзией — Галанскова, Шухта, Шукина и других [29].

6 октября 1961 года Осипов, Бокштейн, Кузнецов и Иванов — «Новогодний» были арестованы, а на квартирах у Буковского, Галанскова и Хаустова прошли обыски. Дело, в результате которого на скамье подсудимых оказались Осипов, Бокштейн и Кузнецов (Иванов был опять признан неменяемым), стало и концом «анархо-синдикалистской» организации, и поводом к окончательному прекращению поэтических чтений на площади Маяковского. Стоит отметить, что все участники этой группы впоследствии отказались от левых взглядов — Иванов и Осипов перешли на позиции русского национализма, и уже в этом качестве играли важную роль в распространении самиздата и движении инакомыслящих [30].

Ленинградское подполье

В конце 1950-х молодежные социалистические группы появляются и в Ленинграде. В отличие от Москвы, многие участники различных кружков этого периода были знакомы друг с другом. Практически все они испытывали огромный

интерес к событиям 1956 г. в Венгрии и Польше, к восточно-европейскому «ревизионизму» и югославскому опыту самоуправления [31]. Но каждый из кружков в то же время являлся автономным пространством теоретических дискуссий и споров о стратегии.

В 1956 году происходит несколько публичных событий, свидетелями и участниками которых стали сотни ленинградских студентов: это конференция в ЛГУ с обсуждениями только что изданного романа Дудинцева «Не хлебом единым» и стихийная демонстрация студентов перед так и не состоявшимся диспутом в Академии художеств о творчестве Пикассо (чью выставку в Эрмитаже посетили перед этим тысячи ленинградцев). В этой демонстрации 21 декабря 1956 года приняли участие почти 1000 студентов, протестуя против отказа администрации Академии провести публичное обсуждение творчества художника [32].

На этом фоне подъема студенческой активности небольшой политический кружок складывается вокруг молодого математика Револьта Пименова. Одним из его активных участников становится Борис Вайль, студент-первокурсник Библиотечного института. Еще до знакомства с Пименовым Вайль вместе с другими студентами издает журнал «Ересь» (преимущественно литературный), который становится предметом разбирательства со стороны институтской администрации и даже удостоивается осуждающего фельетона в «Вечернем Ленинграде». Именно после появления фельетона Пименов без труда находит редактора «Ереси» в общежитии Библиотечного института и предлагает устроить серию публичных дискуссий на политические темы. В этот период Пименов был принципиальным противником создания каких-либо подпольных организаций, отстаивая то, что он называл «легальными методами борьбы» [33]. Однако после разгона студенческой демонстрации 21 декабря он постепенно меняет свою точку зрения.

Еще осенью 1956 года Пименов попадает в поле внимания КГБ после письма в редакцию «Правды», в котором он

протестует против статьи «Антисоциалистические высказывания на страницах польской печати», по его мнению, искажившей события в Польше и «угрожавшей польскому народу». 28 октября Пименов рассылает ряду депутатов Верховного совета СССР письма, в которых, подвергая критике вторжение в Венгрию, требует «принятия закона, чтобы в дальнейшем такое использование советских войск за границей не допускалось без специальной санкции Верховного Совета либо Президиума Верховного Совета» [34].

Избегая точного определения собственных политических взглядов, Пименов не считал себя марксистом, но в целом стоял на антикапиталистических, левых позициях, и, по собственному признанию, симпатизировал дореволюционным эсерам [35]. В целом определяющим для Пименова, так же как для близкого к группе Эрнста Орловского, был интерес к переосмыслению русской революционной истории. По свидетельству Вайля, «в зиму 1956-1957 на квартире Пименова собирались друзья... и он читал им доклады — в основном, о «Народной воле», о партии социалистов-революционеров, о Гапоне... Орловский читал доклад о ВЧК» [36].

Параллельно с этими встречами Пименов участвует в деятельности кружка студентов Библиотечного института, который сложился вокруг Бориса Вайля. На протяжении 4 месяцев 1957 года вместе они издают «Информации» [37] — машинописный периодический бюллетень, в котором «помещались сообщения о событиях в стране, о которых нельзя было узнать из наших газет» [38].

В январе 1957-го Пименов пишет тезисы к будущей программе группы Вайля, носившие скорее пропагандистский характер (Вайль хотел их использовать для привлечения в группу людей из своего родного города Курска, куда он уезжал на зимние каникулы). В тезисах, в частности, утверждалось, что в СССР «государство стало единым капиталистом, единым помещиком, единым мыслителем» [39].

В то же время Пименов на протяжении 1956 — начала 1957 гг. активно контактирует с еще одной группой, ориен-

тированной на самостоятельное изучение истории большевистской партии и марксистской теории (в нее входили Б. Гальперин, И. Кудрова, В. Шейнис и другие). Вместе с Пименовым члены группы написали «Тезисы о венгерской революции» и статью «Правда о Венгрии», в которых особое внимание было уделено роли рабочих советов как органов революционной власти. В августе 1957 года, уже после ареста Пименова, его соратник Сергей Пирогов в письме участникам этой группы В. Шейнису и А. Назимовой предлагал программу дискуссий для марксистского кружка, в котором «большой террор» конца 1930-х характеризовался как завершающий этап «термидора», «завершение контрреволюционного переворота» и «установление военно-террористической диктатуры государственно-монополистического капитала» [40]. В том же письме политика Хрущева определялась как «процесс обратного перерождения», превращение партии «в разновидность мелкобуржуазного (бухаринского?) социализма».

Можно сказать, что характеристика СССР как государственного капитализма и противопоставление ему идеи рабочего самоуправления были ключевыми и для кружка Вайля, и для дискуссий Пименова с кружком Кудровой и Шейниса. Так, по свидетельству самого Пименова, когда «...возник вопрос о том, является ли государственная собственность на средства производства формой общественной собственности... Пименов стоял на той точке зрения, что это разные понятия... При социализме не может быть государственной собственности, она сковывает инициативу масс — нужны рабочие советы...» [41].

В марте 1957 года Б. Вайль, Р. Пименов, а также К. Данилов, И. Вербловская (жена Пименова), И. Заславский и отец Пименова были арестованы и затем осуждены за создание антисоветской организации. В 1958 был также арестован знакомый Пименова, участник марксистского кружка С.Пирогов.

Осенью 1956 года вокруг студента философского факультета ЛГУ В. Молоствовва складывается еще одна группа. Ее

основным программным документом была статья самого Молостова «Statusquo», критиковавшая официальную линию преодоления «культы личности»: «ясно, что историко-религиозный, туманный, неполитический термин «культ личности» не пригоден для выражения определенного содержания, связанного с именем Сталина... югославские коммунисты давно уже говорят о сталинизме,...противопоставляя сталинизм ленинизму» [42]. По мнению автора статьи, главное последствие сталинизма — это отчуждение масс от участия в управлении государством, безразличие и пассивность народа. Еще в начале 1920-х гг. существовало две исторических альтернативы развития советского общества — «либо создание независимого от общества, бюрократически централизованного аппарата», либо «обобществление» государства, «вовлечение масс трудящихся в управление страной». Молостов полагал, что троцкизм и сталинизм, по сути, являлись разными вариациями первого, бюрократического пути, а путь демократизации представлял собой органичное продолжение ленинских идей. Анализируя современный ему государственный аппарат СССР, автор делал вывод о фактическом сохранении основ сталинизма как деформации социализма и после XX съезда.

Критикуя троцкизм (о котором он имел в то время весьма смутное представление), Молостов предлагал анализ и программу, удивительно похожую на главный тезис книги Троцкого «Что такое СССР и куда он идет?». Так, он утверждал: «несмотря на то, что сталинский режим существовал более чем полвека... сохранено основное завоевание социалистической революции — общественная собственность на орудия и средства производства». По мнению Молостова, переход к плановой экономике был огромным шагом вперед, но «чрезмерная централизация, отсутствие рабочего контроля, нарушение принципа... добровольности» привели к перекосам в развитии и техническому отставанию. В конце статьи выдвигались требования восстановления власти советов, рабочего кон-

троля на производстве, размера окладов госслужащих не выше среднего заработка рабочего [43].

Статья, перепечатанная в четырех экземплярах, довольно широко разошлась среди студентов ЛГУ, а некоторые ее переписывали от руки. Свой текст Молоствов зачитывал и на квартире своего друга, тоже студента-философа Л. Гаранина. Весной 1957 года курс Молостова закончил университет, но связи сохранялись. Молоствов активно переписывался, в том числе и на политические темы, с Гараниным, а также бывшими однокурсниками Е. Козловым и Н. Солохиным. Летом 1958 года, перед намеченной встречей единомышленников в Ленинграде, все четверо были арестованы КГБ и приговорены к различным срокам лагерей [44].

Молоствов сохранил верность марксистским убеждениям на долгие годы — отбывая свой срок в Дубравлаге, он успел принять участие в различных социалистических кружках, которые создавались среди заключенных. По признанию Молостова, книгу Георга Лукача «Разрушение разума» он возил «в вещевом мешке с одного лагпункта на другой» [45]. Уже в начале 1980-х Молоствов выступил в самиздате как составитель программного сборника «Социалист-82» (под псевдонимом М. Болоховский), к содержанию которого мы еще вернемся. Утраченную работу «Моя феноменология», написанную на рубеже 1960-1970-х гг., Молоствов заканчивал словами: «Ты все еще марксист?» — спрашивают меня. «И буду им, — отвечаю, — буду, до тех пор, пока не потеряю чувство юмора» [46].

Еще две студенческих марксистских группы (затем почти объединившихся в единую подпольную организацию) сложились в Ленинграде вокруг В. Трофимова и Б. Пустынцева, и Москве — вокруг В. Тельникова и Б. Хайбулина. Осенью 1956 года Трофимов с несколькими близкими друзьями стали регулярно встречаться и обсуждать события в Венгрии и Польше, а также рецидивы сталинизма в СССР. В ноябре 1956 года они распространили в ЛГУ и в Ленинградском пединституте им. Герцена листовки, посвященные событиям в Венгрии и приуроченные ко Дню Советской Конституции.

Листовка заканчивалась призывом «поднять политическую активность» масс и «возродить ленинскую свободу». Трофимов и его товарищи знали о существовании группы Вайля в Библиотечном институте и безуспешно пытались связаться с кем-то из ее участников [47].

В это время Трофимов уже написал проект программы будущей организации, название которой — Союз коммунистов, по замыслу его основателей, должно было вызывать аналогии одновременно и с организацией Маркса и Энгельса, и с Союзом коммунистов Югославии. Московские студенты Тельников и Хайбулин, впоследствии переехавшие в Ленинград, участвовали вместе со студентом юрфака МГУ Е. Осиповым в разработке программы «Союза революционных ленинистов» (СРЛ, такое название использовала московская группа до объединения с ленинградцами).

Эта программа, затем ставшая главным документом обвинения на процессе против членов группы, во многом была близка взглядам Молоствова. Так, в ней констатировалось, что «узость проводимой ЦК КПСС политики заключается в том, что борьба за устранение причин изменений норм... партийной жизни подменяется поверхностным осуждением культа личности, который является всего-навсего следствием этих изменений». «Разрыв практики с марксистско-ленинской теорией» и «срастание государственного и партийного аппаратов», по мнению авторов программы, привели к «снижению политического уровня и творческой активности широких масс» [48].

Определяя себя как «нелегальную политическую организацию», Союз революционных ленинистов выдвигал следующие программные требования: расширение прав советов, чистка партии «по классовому признаку... в целях создания подлинно рабочей партии», сокращение бюрократического аппарата, соблюдение норм внутрипартийной демократии, свобода внутрипартийных дискуссий и признание первичной организации основой партии. Красной нитью через весь текст программы проходит мысль о необходимости пе-

перераспределения власти от партии к советам — это, с одной стороны, обеспечит реальное участие масс в управлении, с другой — будет способствовать очищению самой партии, возвращению ее к марксизму.

В начале 1957 года участники обеих групп, 8 человек, были арестованы и приговорены к различным срокам заключения [49].

Союз коммунаров

Начало 1960-х было отмечено в Ленинграде активностью еще одной марксистской группы, называвшей себя «Союз коммунаров». Примечательно, что ее создатели Валерий Ронкин и Сергей Хахаев, студенты, а затем выпускники Ленинградского технологического института, были активистами комсомольских бригад добровольной помощи милиции («бригадмилы») — официальной массовой организации, созданной после печально известной резким ростом преступности амнистии 1953 года. Сформированная в Технологическом институте группа «бригадмильцев», помимо регулярных рейдов по борьбе с хулиганством, приобретает черты самоорганизованного сообщества, связанного общими мировоззрением и этикой.

«Актив рейдбригады объединяла еще и личная дружба, — вспоминал В. Ронкин. — Мы стали беседовать между лекциями, вместе встречать любые праздники, вместе ходить в походы и ездить на стройки... мы верили в историческую необходимость и прогрессивность Октябрьской революции, восхищались героями Гражданской войны» [50]. Активистов «бригадмилов» объединяли эгалитарные взгляды, стремление бороться с любыми проявлениями социального неравенства. Интересно, что именно такое содержание вкладывалось участниками бригад в борьбу со «стилягами», в которых они видели, прежде всего, циничных отпрысков номенклатуры, презиравших простых трудящихся. Ронкин пишет, что «вспоминая в нашей прежней компании старое,

мы констатировали, что в итоге победили стилиаги и фарцовщики, большая часть которых успела еще до перестройки побывать на партийных постах» [51].

В начале 1960-х столкнувшись с реальной ситуацией на производстве, куда пошли работать по распределению почти все бывшие «бригадмилыцы», Ронкин и его товарищи начинают приходить ко все более критическим выводам в отношении советской действительности. В 1963 году Ронкин и Хахаев пишут работу «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата», ставшую главным программным документом созданного позднее «Союза коммунаров». Эпиграфом Ронкин и Хахаев выбрали ленинскую цитату: «Мы за такую республику, в которой не будет ни полиции, ни армии, ни чиновничества... Мы за полную выборность, за сменяемость в любое время всех чиновников, за пролетарскую плату всем».

Авторы текста характеризовали партийно-государственную бюрократию как класс, которому принадлежит вся полнота власти в СССР. При этом, по их мнению, советское общество было не капиталистическим, но представляло собой особую «бюрократическую формацию», являвшуюся частью общей тенденции к бюрократизации мира. Этот тезис был заимствован из книги «Революция управляющих» американского социолога Джеймса Бернхэма. О работе Бернхэма, изданной в США в 1949 году, Ронкин и Хахаев узнали из рефератов советских обществоведов, которые были доступны в публичной библиотеке.

В своем тексте они приходят к выводу, что эта новая, бюрократическая формация является более прогрессивной по сравнению с капиталистической, так как «дает возможность организации труда в масштабах всей страны» [52]. Октябрьская революция заложила основы для бюрократической модернизации, однако ее централистский и эксплуататорский характер входит во все более острое противоречие с потребностями общества. Неэффективность бюрократии и ее неспособность к инновациям постоянно умножает анархию в управлении производством — что неизбежно вызывает

рост массовой оппозиции снизу (в качестве примеров приводились выступления в Новочеркасске, Темиртау, Муроме и других городах).

Ронкин и Хахаев были убеждены, что «авангардом наемных работников» в СССР является интеллигенция. Именно она должна возглавить движение против бюрократической диктатуры, за власть трудящихся. Но в условиях диктатуры первым этапом борьбы должно стать создание революционной партии, способной к выдвижению требований, которые могут завоевать широкую поддержку. Позитивная программа, основу которой составили положения «Государства и революции» Ленина, включала требование равной оплаты труда (управленческого и непосредственного), роспуск КГБ и замена армии и милиции вооруженным народом, создание многопартийной системы как гарантии от сосредоточения власти в руках номенклатуры.

Исключая любую возможность реформирования КПСС изнутри и подвергая в связи с этим резкой критике т.н. «либералов», Ронкин и Хахаев определяли себя как «революционную коммунистическую оппозицию» [53].

С 1963 года работа «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата» начала распространяться в машинописных копиях. Уже после ареста группы в 1965 году следствие установило личности 88 человек из десяти разных областей СССР, прочитавших книгу Ронкина и Хахаева [54]. Весной 1964 года группа, насчитывавшая уже около 10 человек, распространила листовки в поездах, отправлявшихся на целину. Листовки предупреждали о шокирующей бесхозяйственности, свидетелями которой вскоре станут целинники. В качестве главной причины катастрофической ситуации на целине прямо назывался бюрократический характер политической власти в СССР. Помимо листовок, в поезде были распространены брошюры «Государства и революции» Ленина с подчеркнутыми цитатами.

Вообще, надо отметить исключительное значение этой работы Ленина для критического подхода к действитель-

ности «реального социализма» со стороны всего поколения 1950-1960-х гг. Так, Молоствов вспоминал о ленинградском рабочем, который «раздал в цеху изданные Политиздатом экземпляры «Государства и революции», в каждом из которых красным карандашом были подчеркнуты требования выборности всех должностных лиц, сменяемости, ограничения жалования им средней зарплатой рабочего» [55]. Похожую историю приводит и Вайль — в 1960 г., уже в мордовском лагере, он встретил двух молодых рабочих из Курска, прочитавших книгу Ленина и увидевших, «что государство, в котором они живут... — государственно-капиталистическое», «книгу Ленина они переплели в яркую обложку и с изображением колючей проволоки и в таком виде давали читать рабочим» [56].

В марте 1965 года группа Ронкина-Хахаева приняла решение об издании журнала. Его первый номер (отпечатанный на самодельном гектографе), назывался «Колокол» (с подзаголовком «орган Союза коммунаров»), и содержал четыре статьи, подписанные псевдонимами. Второй номер, выпущенный уже в мае — три статьи. В центре внимания находились анализ актуальной политической ситуации в СССР, а также вопросы советской истории и марксистской традиции. Каждый номер журнала включал рубрику «Кто управляет ныне государством», в которой публиковались критические биографии ведущих государственных деятелей СССР — соответственно, Алексея Косыгина и Михаила Суслова. Практически готовый третий номер так и не был напечатан — 12 июня 1965 года начались аресты членов группы. Ронкин вспоминал, как в ходе следствия стало известно, что Суслов, лично ознакомившись с собственной биографией на страницах «Колокола», «вмешался в ход процесса, который ленинградские власти хотели «спустить на тормозах», и обеспечил по крайней мере «главарям» срок на «полную катушку» [57].

Даже сегодня трудно определить точное количество подпольных марксистских молодежных групп конца 1950-х — начала 1960-х, возникавших независимо друг от друга,

но имевших исключительно близкие взгляды. Так, Борис Вайль писал, что в годы пребывания в лагере «познакомился со многими студенческими группами, близкими нашей и трофимовской. Тут я впервые понял, что мы были не одиноки: по всей стране в эти годы стихийно возникали группки, часто называвшие себя «организациями» или «союзами» [58]. Вайль упоминает группу «Экономическое равенство» (Свердловск), «группу Машкова» [59], группу К. Фурсина и М. Попереки из Алма-Аты [60] и другие.

Генерал Григоренко

В этом обзоре основных социалистических подпольных групп конца 1950 — начала 1960-х нельзя не упомянуть еще одну, история и состав которой сильно отличались от описанных выше. Речь идет об организации «Союз за возрождение ленинизма», созданной в 1963 году генералом Петром Григоренко, впоследствии одним из самых известных советских диссидентов.

7 сентября 1961 Григоренко, генерал-майор и заведующий кафедрой Военной академии им. М.В. Фрунзе, выступил на партконференции Ленинского района Москвы с резкой критикой нового проекта программы КПСС. В своем выступлении Григоренко предупреждал об опасности появления нового культа личности, предлагал внести в проект партийной программы пункты о «демократизации выборов и широкую сменяемость» и призывал бороться с карьеризмом и взяточничеством [61]. Это выступление, по своему содержанию не сильно выходявшее за рамки партийной корректности того времени, в случае Григоренко имело особое значение, так как принадлежало представителю военной элиты. После того, как Григоренко отказался признать ошибочность своих слов, он был уволен из Академии и переведен в Дальневосточный военный округ.

Летом 1963 г. после серьезных размышлений Петр Григоренко приходит к выводу о необходимости создания ор-

ганизации для борьбы с «перерождением советского строя, изменой ленинизму со стороны руководства партии и правительства» [62].

Новая организация (в которую, помимо опального генерала, вошли двое его сыновей и несколько их друзей — студентов и молодых офицеров), приступила к распространению листовок у проходных промышленных предприятий (например, на московском заводе «Серп и молот» [63]). Основной темой листовок (всего было подготовлено семь различных текстов) была необходимость борьбы с бюрократией, за политические свободы и социальную справедливость. В одной из листовок также рассказывалось о расстреле демонстрации в Новочеркасске, массовых выступлениях в Тегеране и Тбилиси.

1 февраля 1964 года Григоренко был арестован, признан неменяемым и помещен в Ленинградскую спецпсихбольницу. После выхода оттуда в конце 1964 года Григоренко активно включается в зарождающееся правозащитное движение. Продолжая долгое время сохранять социалистические убеждения (по крайней мере, до своего второго ареста в 1969 году), он принципиально отказывается от каких-либо форм подпольной организации.

«...Ну а какие же организационные формы надо придать этому движению? Долго раздумывал и твердо решил: никаких... Я сыт партией по горло... Надо просто... бороться против того, чего самому себе не желаешь... такое единство может в тоталитарном обществе развиваться спонтанно, охватить большинство общества и таким путем... создать иной, чем теперь тип общественных отношений» [64] — в этих выводах Григоренко очень точно переданы настроения многих бывших участников нелегальных организаций и групп периода Оттепели.

Пройдя через лагерь, практически каждый из этих людей подвергает серьезному переосмыслению свой предшествующий опыт, а иногда и свои политические взгляды. Многие навсегда отказываются от социалистических убеждений

(например, бывший анархо-синдикалист В.Осипов, покинувший лагерь убежденным русским националистом, или член Союза революционных ленинистов Б. Хайбулин, ставший православным священником). Другие, продолжая считать себя марксистами, радикально пересматривают тактику и становятся участниками правозащитного движения.

После Оттепели

Почти совпадающие по времени конец хрущевской Оттепели и возникновение правозащитного движения открывают новую страницу в истории советских социалистов. С середины 1960-х появляется то, что можно уже уверенно назвать диссидентским движением, или точнее — диссидентским сообществом, принципиальным отличием которого от предшествующего периода было общее пространство коммуникации и распространения информации. Это пространство, «возникшее во второй половине 1960-х гг. и связавшее вместе разнообразные проявления независимой общественной (культурной, социальной, национальной, религиозной и политической) активности реализовывалось самиздатом» [65].

Во второй половине 1960-х из лагерей возвращаются и участники социалистических групп Оттепели. Начиная с 1960 г. большинство из них прошли через один лагерь — мордовский Дубравлаг, специальную зону для политических заключенных. Здесь участники разгромленных групп знакомились друг с другом, вели напряженные дискуссии, и даже создавали новые законспирированные организации. Например, Борис Вайль уже в лагере познакомился с Осиповым и Молоствовым, Валерий Ронкин — с Ренделем и с тем же Осиповым. В лагерях и в пересылочных тюрьмах учреждались новые социалистические группы — такие как «Союз революционных марксистов» А. Суходольского, существовавший в 1955-1956 гг. в Куйбышевских лагерях [66] или «Гражданский союз», основанный при участии Вайля в

1958 г. в Озерлаге [67]. После выхода из лагерей практически все бывшие участники подпольных групп отказываются от дальнейшего следования этой стратегии.

К середине 1960-х стало очевидным и поражение стратегии другого направления, которое можно с оговорками включить в понятие широкой «социалистической оппозиции» — политических «шестидесятников». Характер представлений этой части интеллигенции о необходимости политических изменений в советском обществе, заданный хрущевской версией критики сталинизма, был связан с возможностью «самореформы» правящей бюрократии, ее способностью к демократизации системы сверху. Такой подход, с одной стороны, не предполагал необходимой связи этих изменений с реальной политической инициативой снизу, с другой — в определенной степени освобождал от серьезной системной критики «развитого социализма» и выдвижении программной альтернативы. Пафосом «самореформы» была захвачена большая часть поколения «шестидесятников», выбравшая путь интеграции в партийные и научные институты, через которые она надеялась влиять на постепенное изменение системы в духе «социализма с человеческим лицом». Это течение, определяемое более радикально настроенными инакомыслящими как «либералы», продолжало существовать до конца 1960-х (к нему относились, например, участники подписных кампаний из числа статусных академических фигур или круг авторов «Нового мира»). Пожалуй, главными событиями, обозначившими поражение этого течения, стали ввод войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 и разгон редакции «Нового мира» в 1970 г. В то же время, именно с середины 1960-х «в среде фрондирующей общественности стал образовываться более плотный слой, который затем оторвется от неформальной прогрессистской пуповины и вступит в открытую борьбу» [68].

Однако, параллельно с развитием диссидентско-правозащитного сообщества и расширения пространства циркуляции самиздата, продолжают возникать и новые подполь-

ные социалистические группы. Более того, их количество на протяжении 1960-70-х гг. продолжает увеличиваться, а география — расширяться.

Так, авторы-составители сборника «Крамола» приводят следующие цифры (на основе изучения надзорных дел Прокуратуры СССР) — в 1961 г. было выявлено 47 «антисоветских» групп, за первое полугодие 1965 г. — 28, в 1970 г. — 709 (3102 участника), в 1974-1976 гг. среди учащейся молодежи выявлено 384 группы, в которые входили 1232 участника [69]. Конечно, далеко не все из этих групп могут быть отнесены к социалистическому спектру. Но в «Аналитической справке о характере и причинах негативных проявлений среди учащейся и студенческой молодежи» от 3 декабря 1976 г., составленной начальником 5-го управления КГБ СССР Филиппом Бобковым, среди «антисоветских проявлений» специально выделяются проявления «идеологии ревизионизма и реформизма» (т.е. в той или иной форме критика советского политического режима с социалистических позиций), которые составляют 35% от общей численности «проявлений» [70].

Таким образом, традиция социалистического инакомыслия, критики «реального социализма» слева, в 1960-1970-х гг. условно может быть разделена на две большие части — социалисты и марксисты, действовавшие в рамках диссидентского сообщества и общего пространства распространения самиздата, и подпольные социалистические группы, в определенной мере наследовавшие традиции времен Оттепели. Границы между этими двумя направлениями в ряде случаев оказывались достаточно размыты, хотя в целом можно говорить о двух параллельных тенденциях.

Для первой из них, глубоко интегрированной в диссидентское сообщество и существовавшей в основном в Москве и других крупных городах, был характерен высокий уровень образования, намного большие, чем у подпольных групп, возможности получать актуальную информацию о тенденциях развития левого движения на Западе и знакомиться с труднодоступными текстами на иностранных языках. В этой

среде находятся не только постоянные внимательные читатели самиздата, но и его активные авторы. Самиздатские периодические публикации социалистов, такие как «Политический дневник» Роя Медведева или более поздние «Поиски», читаются и обсуждаются не только в узком кругу друзей и единомышленников, не только внутри диссидентской среды, но и далеко за ее пределами, оказывая воздействие на достаточно широкий круг оппозиционной интеллигенции. С другой стороны, диссиденты-социалисты, представлявшие организационно неоформленную тенденцию внутри сообщества, с течением времени все больше оказывались в положении меньшинства, становясь, по выражению Молодцова, «диссидентами среди диссидентов».

Как отмечает А. Шубин, «в диссидентском мире, действительно, в 70-е произошел сдвиг вправо — хотя и не всеобщий, но позволивший сторонникам либеральных и консервативных взглядов получить преобладание» [71]. Примерно с этого времени социалисты вовлекаются в жесткую полемику с принципиальными противниками социализма внутри диссидентского сообщества — вначале преимущественно национал-консервативного, а затем и либерально-рыночного направления. Причем в этой полемике социалисты все больше выступают в качестве обороняющейся стороны.

Подпольные группы 1960-1970-х гг. также переживают определенную эволюцию — отходя от «очищенного» ленинизма и восточноевропейского «ревизионизма» в духе радикалов времен Оттепели, многие из них с 1970-х начинают включать в свой теоретический багаж идеи «западного марксизма», еврокоммунизма, европейских «новых левых» и Франкфуртской школы.

Политический дневник

Принципиальной фигурой для диссидентского движения 1960-70-х гг., безусловно, являлся Рой Александрович Медведев. Философ по образованию, Медведев с начала

1960-х гг. активно включается в общественную жизнь Москвы. В 1962 году он начинает работу над книгой «К суду истории: генезис и последствия сталинизма», ставшую позже одним из наиболее читаемых произведений исторического и политического самиздата.

С 1964 г. Медведев начинает издавать машинописные информационные бюллетени, впоследствии изданные на Западе под названием «Политический дневник». Журнал печатался в пяти экземплярах, его регулярными читателями являлись около сорока знакомых Медведева, но круг распространения был гораздо шире [72]. Основной аудиторией «Политического дневника» была либерально настроенная среда «шестидесятников», достаточно хорошо интегрированная в партийные и академические институции. Это были те, кого сам Рой Медведев причислял к сторонникам «партийно-демократического течения» (фактическим органом которого был «Политический дневник»).

В опубликованной позднее на Западе программной «Книге о социалистической демократии» Медведев так определял круг сторонников «течения»: «Данное течение в настоящее время практически совершенно не представлено в самых высших органах партийного руководства. Однако можно предположить, что и здесь имеется ряд деятелей, которые... в иных условиях и при ином окружении могли бы составить важную поддержку именно партийно-демократическому течению. Немало сторонников данного течения имеется среди работников партийного и государственного аппарата на его различных уровнях, особенно среди тех сравнительно молодых работников, которые пришли в аппарат после XX и XXII съездов партии. Партийно-демократическое течение имеет сегодня немало сторонников среди научных работников: экономистов, философов, социологов, историков и других. Оно пользуется сочувствием среди части научно-технической интеллигенции, среди части литераторов и в других группах творческой интеллигенции. Отдельные группы, которые можно было бы отнести к этому течению, имеются

среди старых большевиков, особенно среди тех, кто вернулся из ссылки и заключения сталинских лет» [73].

В этом отрывке очень точно описана среда, в которой вращался автор и на которую пытался сознательно оказывать политическое влияние. Так, в начальный период работы над рукописью «К суду истории» Рой Медведев обсуждал ее на предмет возможной официальной публикации с целым рядом высокопоставленных партийных функционеров, включая секретарей ЦК КПСС Л. Ильичева и Ю. Андропова [74]. Через своего брата, биолога Жореса Медведева, Рой Медведев с середины 1960-х устанавливает контакты и с кругом оппозиционно настроенных ученых. В 1967 году он впервые встречается с А.Н. Сахаровым, по воспоминаниям которого, рукопись «К суду истории» произвела на него большое впечатление [75]. В течение нескольких лет Медведев и Сахаров поддерживали тесные контакты: Сахаров публиковался в «Политическом дневнике» [76] и в 1970-м вместе с Медведевым и Валентином Турчиным подписал известное «Письмо руководителям партии и правительства». Активно взаимодействовал Медведев и с кругом редакции «Нового мира», и с историками Михаилом Гефтером и Виктором Даниловым, и с философами-марксистами из Института философии РАН (Г. Батищев, Э. Ильенков, А. Зиновьев и др.).

Содержание выпусков «Политического дневника» было исключительно разнообразным. Здесь были аналитические обзоры текущей политической ситуации, расстановки сил в руководстве КПСС, перепечатки документов, важных для понимания настроений в обществе и широких слоях партии.

Публиковались в «Дневнике» и теоретические статьи близких к «партийно-демократическому течению» авторов. Например, Ю. Карякин в статье «Марксистская традиция против казарменного коммунизма», ссылаясь на определение Маркса, характеризовал сталинизм как разновидность «казарменного коммунизма» [77]. Последний, по мнению Карякина, характеризовался нивелированием личности, стремлением к захвату личной власти и подавлением граж-

данских свобод. В статье В. Громова «Сталин (мысли и факты)», в частности, оценка роли Льва Троцкого радикально отличалась от принятых партийных установок [78]. Большое внимание на страницах «Дневника» уделялось не только событиям 1968 г. в Чехословакии, но и анализу парижского «Красного мая». Комментируя статью из «Правды» об этих событиях, автор «Дневника» отмечал, что некритический подход Французской компартии к советскому «реальному социализму» в СССР сыграл крайне негативную роль. Фактически солидаризируясь с началом еврокоммунистического поворота в ряде коммунистических партий, автор «Дневник» констатировал, что «нередко западным компартиям удается сохранить влияние... если они дают заверение, что будут строить социализм иначе, чем в СССР» [79]. В том же номере была опубликована информативная статья «Кто такой Герберт Маркузе», в которой корректно, хотя и не сильно доброжелательно, описывался круг основных идей этого представителя Франкфуртской школы.

По замыслу Медведева, «Политический дневник» должен был сформировать общее идейное и информационное пространство сторонников «партийно-демократического течения». Людмила Алексеева достаточно точно описывает эту политическую стратегию: «Сам Медведев заявлял себя сторонником широкой социалистической демократии для всего общества, и верил в неизбежность такой демократизации в связи с требованиями экономического и технического прогресса, научно-технической революцией и изменениями социальной структуры советского общества. Эта демократизация произойдет... лишь в результате политической борьбы и политического давления на «автократический режим». Конкретные пути расширения демократии в советском обществе, предлагаемые Медведевым, — выработка соответствующей теоретической платформы, разработка марксизма-ленинизма применительно к современности и поиск конструктивных путей демократизации экономики, образования, структуры власти... распространение этих

идей способами, найденными обществом в советских условиях, — через самиздат и, по возможности, через официальные каналы: выступления на собраниях, а если удастся — и в официальной печати, организация давления на консервативные и реакционные элементы правящей партии со стороны народа и интеллигенции» [80].

После ввода войск в Чехословакию и последних неудачных попыток наладить диалог с властью через подписные кампании и открытые письма (такие как письмо Сахарова, Турчина и Медведева в марте 1970 г.) [81], между Медведевым и правозащитной средой нарастают разногласия. К 1973 г. отношения Медведева с Сахаровым и кругом Комитета защиты прав человека окончательно портятся. «Проблема борьбы против реабилитации Сталина отошла в это время на второй план, и даже общая борьба против политических репрессий и за свободу мнений не могла объединить диссидентов», вспоминал Рой Медведев [82]. К открытому конфликту привела публикация письма в защиту поэта Пабло Неруды, с которым Сахаров обратился к Пиночету после переворота в Чили. Один из аргументов состоял в том, что расправа над Нерудой может скомпрометировать «объявленную вами (т.е. Пиночетом) эпоху возрождения и консолидации Чили» [83]. Вскоре в западногерманской газете *Die Zeit* публикуется статья Медведева с резкой критикой Сахарова и Солженицына, после чего значительная часть правозащитной среды рвет с ним отношения.

Если Медведев продолжает придерживаться социалистической перспективы и не оставляет надежды на возможность реформ в СССР в духе «социалистической демократии», то Сахаров и большинство участников Комитета за права человека (а с 1975 г. — Хельсинкская группа), все больше ориентируются на правительства Западной Европы и США как гаранта от усиления политических репрессий в Советском союзе. Медведев, с его социализмом начинает восприниматься как оппортунист и недостаточно принципиальный противник тоталитарного политического режима.

Правый поворот

В начале 1970-х, на фоне окончательного поражения Оттепели, консервативное крыло советского диссидентского движения во главе с Александром Солженицыным предпринимает серьезное наступление на идейные позиции социалистов. Речь идет уже не о преступлениях сталинизма, отвержении большевистской традиции и наследия революции 1917 г., но о программной критике социализма в принципе.

Именно борьба с самим социалистическим мировоззрением была главной и открыто декларируемой задачей знаменитого сборника «Из-под глыб», изданного на Западе в 1974 году почти сразу после вынужденной эмиграции Солженицына. В программных статьях сборника, написанных самим Солженицыным и участником Комитета защиты прав человека, ученым-математиком Игорем Шафаревичем, атаковались и диссиденты-социалисты, и в целом социалистические пережитки внутри правозащитного движения. «Сталинизм» — это очень удобное понятие для наших «очищенных» марксистских кругов, которые стремятся отличаться от официальной линии, на деле отличаясь от нее ничтожно», писал Солженицын, явно имея ввиду Роя Медведева. Критикуя Сахарова, он отмечал, что и для него социализм по-прежнему является «неприкосновенной статуей» [84]. Согласно Солженицыну, марксизм и коммунизм явились «прежде всего результатом исторического кризиса, психологического и морального, кризиса всей культуры и всей системы мышления в мире, который начался в эпоху Возрождения и нашел свое максимальное выражение в просветителях XVIII века» [85].

Другая статья сборника, написанная Шафаревичем (ставшая основой для его более поздней книги «Социализм как явление мировой истории»), вообще объявляла социализм иррациональным стремлением человека к самоуничтожению, злым роком, сопровождавшем всю историю от египетских фараонов и государства инков до ГУЛАГа. «Сей-

час в нашей стране марксизм никого и никуда подвинуть не в состоянии... думающая молодежь относится к марксизму, как правило, со смесью скуки и иронии», — утверждал Шафаревич в сборнике «Две пресс-конференции», изданной годом позже как дополнение к сборнику «Из-под глыб» [86].

Возражая Солженицыну в самиздате, Рой Медведев отмечал, что для его оппонента «вообще нет никакой разницы между идеями социализма и их реальным воплощением». «Солженицын не хочет видеть, что коммунизм в XX веке победил в первую очередь в таких странах как Россия и Китай именно потому, что здесь страдания... миллионов людей были особенно сильны» [87]. Медведев детально разбирает статьи Солженицына, выявляет подтасовки фактов, искажение цитат, отсутствие внутренней логики. Однако для значительной части читателей самиздата его доводы вряд ли выглядели убедительно. Наоборот, позиция Медведева считывалась как конформистская, соглашательская по сравнению бескомпромиссным автором «Архипелага ГУЛАГ».

Александр Шубин отмечает, что, несмотря на то, что марксизм оставался общепринятым языком в академической среде, именно в неформальном диссидентском сообществе в 1970-е он стал безошибочным признаком дурного тона. В оппозиционном идеологическом общении марксизм воспринимался как «советский язык», на котором неприлично говорить [88]. Как вспоминала Нина Комарова, жена и соратница известного правозащитника Виктора Некипелова, «мы спорили с теми, кто верил в «социализм с человеческим лицом», кто верил вообще в идею социализма, кто называл себя неомарксистами... мы действительно «заболели» отвержением системы...» [89].

Итальянский историк Джузеппе Боффа оценивал подобные настроения как признак «радикализации» диссидентов, которые «начинали свою деятельность с мыслью завязать диалог с представителями власти: опыт хрущевского времени давал повод для такой надежды. Ее, однако, разрушили новые репрессии и отказ властей вести диалог. То, что поначалу

было просто политической критикой, обращается беспепелляционными обвинениями. На первых порах диссиденты лелеяли надежду на исправление и улучшение существующей системы, продолжая считать ее социалистической. Но в конечном счете они стали видеть в этой системе лишь признаки умирания и ратовать за полный отказ от нее...» [90].

«Сознание интеллигенции стихийно становилось фундаменталистским, — пишет Борис Кагарлицкий, — хотя сами носители этих идей считали себя (и субъективно часто были) людьми мирными и терпимыми. Соответственно рос спрос на «альтернативные идеологии», привлекательные не только своей цельностью и радикальной противоположностью официальным идеям «совка», но и отсутствием связи с прошлой и отвратительной повседневной жизнью» [91].

В это время, когда основная полемика начинает явно сдвигаться от линии «коммунисты-антикоммунисты» в сторону «либералы-западники — патриоты-почвенники» (условно — Сахаров vs. Солженицын), социалисты, оставаясь на позициях интернационализма и воспринимая национализм и почвенничество как серьезную угрозу, все чаще выступают в самиздате как союзники либералов, стараясь не акцентировать внутренние разногласия.

Одним из продуктов такого взаимодействия либералов и левых можно считать, например, самиздатский журнал «Поиски», выпускавшийся на рубеже 1970-х — 1980-х. С другой стороны, обострение идейной полемики сопровождается появлением текстов, авторы которых четко отождествляли себя не только с марксистской, но и с большевистской традицией, противопоставляя ее любым попыткам капитуляции перед либеральной тенденцией.

В защиту марксизма

В начале 80-х в «тамиздате» появляются книги, подписанные псевдонимом А. Зимин [92]. В двух больших работах, «Социализм и неосталинизм» [93] и «У истоков сталинизма»

[94], автор (ранее сотрудничавший с Роем Медведевым и опубликовавшийся в альманахе «XX век» под его редакцией [95]) представляет развернутую критику сталинизма как ревизии теории и практики марксизма, органичным продолжением которой стала официальная линия КПСС после XX съезда.

«Ныне существующее советское общество, именующее себя социалистическим, не есть социалистическое общество — констатирует Зимин — ... оно не только не развивается в направлении социализма, но и все дальше от... социалистических достижений Октября» [96]. Аргументированно и подробно критикуя официальную теорию «дружественных классов», — рабочих и крестьян, — Зимин называет еще две группы советского общества, подходящие под определение класса: заключенных, «безвозмездно отдающих свой труд», и бюрократию. Сам термин «реальный социализм», утверждает Зимин, содержит в себе глубокое внутренне противоречие, он скрывает несоответствие общества основным принципам социализма, главный из которых — социальное равенство [97]. Советское общество на самом деле движется в обратном направлении от социализма, умножая неравенство и привилегии.

Опираясь на большевистскую традицию, Зимин жестко критикует любые попытки части диссидентов уравнивать сталинизм и наследие Октября. «Сведение сталинизма к ленинизму... предстает как отрицание исторической целесообразности... Октябрьской революции» [98]. Будущее социализма Зимин связывает с международной революционной перспективой как неизбежным следствием «всемирности общественных отношений» [99].

Зимин считал, что последствия сталинской контрреволюции нанесли катастрофическое поражение социализму. Они дали возможность капитализму «изображать себя в качестве демократической альтернативы неосталинистским авторитарным обществам». «Итогом полувекового господства сталинизма» стало то, что «в идеологической борьбе современности капитализм наступает, а искаженный сталинистами

коммунизм обороняется... но не собственным оружием... а поддельным, чужим, и потому менее действенным» [100].

Не поддерживая взгляды Льва Троцкого и Лево́й оппозиции, Зимин отмечал, что любое теоретическое обоснование сталинизма невозможно без «сакраментального противостояния “троцкизму”», в котором «перемешаны десятилетиями воспитанные нерассуждающая ненависть, расчетливое лицемерие и страх... перед самым заклётым словом «троцкизм»» [101].

В 1970-е гг. у Зимина были связи с западноевропейскими активистами IV Интернационала. Так, его книга «У истоков сталинизма» была издана парижским издательством «Слово», принадлежащим троцкистской Революционной коммунистической лиге (LCR).

Зимин (Элькин) принадлежал к небольшой, но исключительно важной части тенденции диссидентов-социалистов — старым большевикам, вступившим в партию задолго до войны, а иногда и до революции (например, Алексей Костерин — в 1916 г.). Для таких разных людей, как С. Писарев, А. Костерин, Р. Лерт, П. Абовин-Егидес, Л. Копелев общими были четкое разделение исторической партии большевиков, идейному и политическому наследию которой он оставались преданы, и современной им, сталинско-хрущевско-брежневской, которую они считали переродившейся и не имеющей никакого отношения к марксистской и ленинской традиции.

Алексей Костерин, старый большевик, в 1936 г. исключенный из партии и проведенный 17 лет в лагерях и в ссылке, с начала 1960-х гг. становится активным участником диссидентского движения. Вместе с Петром Григоренко он принимает участие в кампании за право на возвращение крымских татар и выступает в самиздате (Костерин одним из первых поднял проблему депортированных народов своей статьей «Малые и забытые») [102].

В июле 1967 года Костерин пишет открытое письмо Михаилу Шолохову, критикуя направленное против Даниэля и

Синявского агрессивное выступление классика советской литературы на XXIII съезде КПСС. Обращаясь к Шолохову, Костерин писал: «вы выступили против свободы печати, против свободы творчества, ... без чего не может быть... дальнейшего пути к коммунизму». Для достижения подлинной свободы слова, утверждал Костерин, необходимо не только упразднить Главлит и практику вмешательства КГБ в дела литературы. Необходимо «обеспечить использование бумаги и типографий в интересах трудящихся» [103].

В августе 1968-го, после вторжения советских войск в Чехословакию, Костерин вместе с П. Григоренко, И. Яхимовичем, С. Писаревым и В. Павлинчуком (этот круг П. Григоренко в своих воспоминаниях называл «коммунистической фракцией» в правозащитном движении [104]) подписали «письмо пяти» с протестом, переданное в чехословацкое посольство и широко разошедшееся затем в самиздате. Незадолго до своей смерти в ноябре 1968 года, Костерин отослал в ЦК КПСС свой партбилет, указав в сопроводительном письме, что вступал в «другую партию» [105].

Раиса Лерт, ставшая членом ВКП(б) в 1926 г., не только сохранила свои марксистские убеждения, но и отстаивала их в многочисленных самиздатских публикациях. Активно участвуя в правозащитном движении, Лерт так аргументировала необходимость борьбы за свободу слова в СССР: «... Свобода мысли в нашей стране — в т.ч. и для противников марксизма — необходима, прежде всего, марксизму, ибо без нее никакого развития марксистской мысли быть не может, как не может быть построен социализм без реальных демократических свобод» [106]. Свою позицию по отношению к КПСС она определяла следующим образом: «Я не собираюсь, как некоторые, оправдываться в своей былой партийности: коммунистом я стала не случайно... Я вступила в партию убежденно и радостно... но не в эту партию. Той давно нет в живых, а звание члена этой партии я давно не считаю высоким. И с членством в этой партии мои взгляды действительно несовместимы» [107].

В конце 1970-х Р. Лерт, вместе с другим правозащитником-марксистом, Петром Абовиным-Егидесом, стала одним из создателей и редакторов самиздатского журнала «Поиски». Абовин-Егидес, также член партии с довоенным стажем, пострадавший от сталинских репрессий, с начала 1950-х гг. начинает интересоваться идеями социалистического самоуправления. Он пытается — и небезуспешно — применить их на практике, когда становится председателем одного из колхозов в Пензенской области во второй половине 1950-х. В течение почти двух лет Абовин-Егидес старается перестроить жизнь одного, отдельно взятого колхоза на началах самоуправления и прямой демократии [108]. В 1960-е он становится активным участником диссидентского движения, сохраняя приверженность марксизму и идеям самоуправления.

Интернационализм или русификация?

В качестве особой части течения диссидентов-социалистов необходимо выделить участников диссидентского движения в национальных республиках СССР, которые, действуя внутри пространства самиздата и находясь в постоянном контакте с националистически или национал-либерально ориентированным диссидентским сообществом, стремились отстаивать марксистское понимание национального вопроса.

В 1965 году молодой киевский литературовед Иван Дзюба передал в ЦК КПУ письмо с протестом против преследований представителей украинской интеллигенции, входившей в круг существовавшего с 1960 г. Клуба творческой молодежи. К этому письму он прилагает рукопись, вскоре ставшую одним из самых читаемых произведений самиздата. Под названием «Интернационализм или русификация?» она вскоре издается на Западе. Дзюба утверждал, что в СССР интернационализм фактически подменен великодержавной русификацией национальных окраин. Ссылаясь на статьи Ленина и решения X съезда РКП(б), Дзюба писал,

«советская власть недвусмысленно провозгласила своей задачей... всестороннее развитие... особенно развитие ранее угнетенных и неравноправных наций», «идея ассимиляции наций, идея о будущего безнационального общества — это не идея научного коммунизма, а того «коммунизма», который Маркс и Энгельс называли “казарменным”» [109].

Интерес к украинскому национальному вопросу проявлял и известный участник правозащитного движения, марксист по убеждениям, Леонид Плющ. Вспоминая о встрече с ним в 1968 году, П. Григоренко отмечал: «Леонид Плющ явился серьезным подкреплением для нашей «коммунистической фракции», которая со смертью Павлинчука и Костерина ослабла весьма существенно» [110]. Сразу после эмиграции из СССР Плющ активно контактировал с кругом журнала «Диалог», издаваемого в Канаде украинскими марксистами, близкими к троцкизму. Журнал, выходивший с подзаголовком «За демократию и социализм в независимой Украине», в 1976 г. опубликовал большое интервью с Плющем, а в 1981-м — развернутую рецензию на его книгу «На карнавале истории» [111]. В рецензии отмечалась принадлежность Плюща и украинской социалистической традиции, что для Плюща «само отношение к национальному вопросу... является в наибольшей степени программным и марксистским» [112].

Определяя (как и Плющ) советское общество как «государственный капитализм», редакция «Диалога» связывала имперскую политику Москвы с несоциалистическим, эксплуататорским характером власти бюрократии. Стоит отметить, что этот национально окрашенный «украинский марксизм» не был порождением диссидентской среды, но находился в отношениях прямой преемственности с взглядами таких разных деятелей исторического украинского «национал-коммунизма» как Владимир Винниченко или Александр Шумский.

Соединение национальных и социалистических задач просматривались также в деятельности львовской группы «Укра-

инский рабоче-крестьянский союз», основатели которой — известные впоследствии диссиденты-националисты Левко Лукьяненко, Иван Кандыба и Степан Вирун — были арестованы КГБ в 1961 г. В программе Союза говорилось, что «знание марксизма-ленинизма показывает нам бездонный провал между современной действительностью и теми идеалами, за которые боролись пролетарии всех стран» [13]. Впрочем, сложно сказать, отражением чего на самом деле были подобные утверждения — действительной приверженности социалистическим идеалам будущих ключевых фигур украинского националистического самиздата или данью своеобразному «политическому реализму». Во всяком случае, известно, что в ходе дискуссии о программе организации, на замечание Кандыбы, что она «слишком марксистская», Вирун возразил, что «без марксизма дальше, чем до Киева не дойдешь» [14].

Апелляцией к погрязшим советской бюрократией принципам ленинизма осенью 1967 года завершал свою речь на судебном процессе во Львове один из самых известных деятелей украинского диссидентского движения Вячеслав Черновил. «Ленин постоянно требовал, чтобы как можно больше граждан принимали участие в руководстве государством и обществом, и в этом он видел единственную гарантию успешного развития социализма», — обращался Черновил к судьям, «я попытался действовать в соответствии с этими ленинскими указаниями, и о результатах этой попытки вы мне сейчас сообщите» [15].

Стремление совместить социализм и идеи национальной независимости можно обнаружить в 1970-е в Литве и Латвии. Так, в конце 1970-х — начале 1980-х в Вильнюсе действовал кружок, издававший журнал «Перспективы». Его участники, В. Скуодис, Р. Ясас, Г. Ешимантас и П. Печелюнас, уже немолодые представители научного и культурного сообщества, считали себя марксистами, при этом активно участвуя в литовском правозащитном сообществе, ориентированном преимущественно католически и националистически [16]. В «Обращении к компартиям Европы», распространенном

в самиздате, Ешимантас выдвигал программу выхода Литвы из состава СССР, как добровольного объединения, на основе Конституции, и создания «независимого свободного социалистического государства» [117]. Еще в 1970-х Ешимантас написал и пытался распространять в литовском самиздате рукопись под заголовком «Будущее», затем отрывками перепечатанную в «Перспективах». Этот текст был представлен как программный документ подпольной политической организации с провокативным названием «Союз коммунистов Литвы за выход из состава СССР» [118].

Примерно тогда же в Риге существовала группа «Латышская социал-демократическая партия». Ее основатели, Д. Лисманис и Ю. Бурмейстрс, считали себя продолжателями дела исторической латышской социал-демократии и даже установили связь с ее эмигрантским «заграничным комитетом» в Швеции [119].

Социалисты 70-х

На протяжении 1960-х-1970-х гг., параллельно с развитием диссидентско-правозащитного сообщества, в разных городах СССР продолжают появляться подпольные социалистические группы, идейно и типологически близкие молодежным группам периода Оттепели. В то же время, их социальный состав становится гораздо более разнообразным — становится больше рабочих, служащих и даже функционеров низшего звена. Так, в 1964 г. в Кишиневе и Одессе был создан «Демократический союз социалистов», один из основателей которого, Николай Драгош, был депутатом райсовета. Группа, наладившая подпольную типографию, распространила полторы тысячи экземпляров газеты «Правда народа». Участники группы, Драгош, Н. Тарнавский, И. Чердынцев и В. Посталаки, также рассылали свои материалы в Киев, Свердловск, Горький и другие города СССР [120].

В 1967 г. в Алма-Ате были арестованы члены подпольной группы «Молодой работник», лидерами которой были со-

трудники дежурного райотдела милиции Б. Быков и В. Медников, а также секретарь ВЛКСМ одного из предприятий города Г. Деонисиади [121]. В 1968 г. в Ленинграде была раскрыта группа Ю. Гендлера, А. Студенкова и Л. Квачевского, которая регулярно проводила собрания с обсуждением политических событий, — в том числе, процесса по делу «Союза коммунаров» [122].

В 1969 г. в Таллине были арестованы члены марксистской группы «Союз борьбы за политическую свободу», основанную офицером ВМС Г. Гавриловым [123]. Тогда же была разгромлена КГБ и достаточно большая группа, называвшая себя «Марксистской партией нового типа». «Партия» имела ячейки в трех городах — Рязани, Саратове (саратовская часть называла себя «Партия истинных коммунистов») и Петрозаводске. Ее главный идеолог, Юрий Вудка, написал две программные работы — «Закат капитала» и «Сущность коммунизма» [124]. Среди участников группы были как студенты — С. Грилюс, А. Романов, О. Фролов, так и следователь-стажер саратовской прокуратуры О. Сенин [125] [126].

Почти в то же время действовали и группы «Уральский работник» (Свердловск), «Партия за реализацию ленинских идей» (Ворошиловград, многие члены группы были промышленными рабочими) [127], группа Владлена Павленкова (Горький) [128] и группа в г. Бендеры [129]. В 1970-м в Керчи также существовала социалистическая группа, основанная заведующим отделом городской газеты «Керченский работник» и членом КПСС В. Чеховским, которая смогла организовать и возглавить нелегальную забастовку на Керченском судостроительном заводе.

Это — лишь некоторые из подпольных социалистических групп рубежа 1960-70-х. Практически все из них оставались на позициях марксизма и «очищенного» ленинизма, считали партию переродившейся, а СССР — в той или иной форме, эксплуататорским обществом.

«Не к коммунизму мы идем — все это вранье... наш строй — государственный капитализм», — утверждал анонимный

автор листовки, распространенной в июне 1972 года в Москве от имени «Гражданского комитета» [130]. Хорошо отражает это настроение и речь, произнесенная ленинградцем Ю.Федоровым, автором «Устава союза коммунистов», на суде, где ему был вынесен приговор по факту «антисоветской агитации»: «Я был, есть и остаюсь коммунистом. Только горячая любовь к Родине, к Советской власти, к социализму, привела меня на скамью подсудимых... и пусть меня осудят еще десять раз, но насколько хватит моих сил, я буду защищать идеалы коммунизма от нападков перед всем миром, попыток превратить их в пугало или посмешище... от кого бы они не исходили, и как бы себя эти люди не называли» [131]. «Я не мыслю свою жизнь иначе, как в борьбе за коммунизм», говорил, выступая на суде, член ВЛКСМ и участник свердловской группы «Уральский работник» В. Узлов [132].

Уже тогда значительной частью диссидентского сообщества такие взгляды воспринимались как продукт наивности и дефицита информации. Однако среди участников подпольных социалистических групп того времени были не только провинциальные комсомольцы, но и люди, достаточно хорошо знавшие изнутри устройство советской политической системы. Например, тот же Ю. Федоров на момент ареста был начальником хозяйственного отдела Института водного транспорта и членом КПСС [133], В. Чеховский — сотрудником городской газеты, Н. Драгош — депутатом райсовета.

Новые левые

В этот период появляются молодежные группы, в большей или меньшей степени испытавшие влияние идей западных «новых левых». Так, в августе 1970 г. молодыми рабочими Г. Давиденко и В. Спиненков в Свердловске была учреждена «Революционная партия интеллектуалистов Советского Союза», РПИСС [134]. В своих программных документах группа совмещала положения неомарксизма, левой социал-демо-

кратии и «новых левых» [135]. Теоретики группы полагали, что «коммунистическое учение наполовину неверно и является в данный момент средством для оболванивания масс, а идея близкого коммунизма является по своей сущности новой религией» [136]. На идеи «новых левых» ориентировалась и разгромленная КГБ в начале 1975 г. московская группа «Неокоммунистическая партия Советского союза» [137].

В 1975-1979 гг. в Ленинграде действовал «Союз революционных коммунаров» (СРК) [138]. Лидеры группы, А. Стасевич, А. Кочнева и В. Михайлов, тесно связанные с контркультурной средой города, жили коммуной на снятой квартире, распространяли анархистскую литературу и регулярно делали вылазки в город для нанесения на стены домов политических надписей вроде «Долой госкапитализм!» или «Демократия — не демагогия!» [139].

В 1976 году в Ленинграде была создана просуществовавшая затем два года группа, известная как «Левая оппозиция». Ее журнал «Перспектива» призывал к ликвидации репрессивной машины государства, максимальной свободе личности, немедленному добровольному двухстороннему разоружению и заключению прочного советско-китайского мирного договора [140]. Впрочем, общее пацифистское настроение «Левой оппозиции» подвергалось и серьезной внутренней критике — например, в статье «Критика тезисов текущего момента» признавалось полезным обращение к опыту западногерманской RAF, а также акты диверсии, вроде массового выпуска фальшивых денег. В программной статье группы, «Тезисы текущего момента», утверждалось, что советское «государство, которое в годы революции было только средством, стало... самоцелью», «советская идеология зашла в тупик, никакого отношения к марксизму она не имеет, а является его грубой фальсификацией» [141].

В статье назывались два возможных пути развития советской системы — либо «группа в партийно-государственной бюрократии сможет понять, что дальнейшее продолжение подобной политики грозит катастрофой, и пойдет на посте-

пенную смену системы», либо «продолжиться дальше закручивание гаек... и... в стране может просто начаться гражданская война». Первый вариант, возможность само-реформы, оценивался в целом скептически.

Несмотря на радикальную программу и еще более радикальные предложения деятельности, группа пренебрегала конспирацией — значительная часть активистов жила в коммуналке на Приморском проспекте, точный адрес которой можно было узнать в известном среди неформальной молодежи кафе «Сфинкс» [142].

Помимо программных текстов, в журнале «Перспективы» печатались отрывки из текстов Бакунина, Кропоткина, Троцкого, Маркузе и Кон-Бендита [143]. Всего за 1978 год вышло 3 номера журнала. Лидеры группы, Аркадий Цурков и Александр Скобов планировали создать на основе контактов «Левой оппозиции» всесоюзную организацию под условным названием «Революционный коммунистический союз молодежи». Накануне конференции, ее участники, включая делегатов из Москвы и Горького, были арестованы. Арест лидеров группы Цуркова и Скобова вызвал большой резонанс в среде ленинградской неформальной молодежи. На демонстрацию в защиту арестованных у Казанского собора вышло более 200 школьников и студентов [144].

В 1979 г. в Москве, Туле и Ярославле сложилась группа, называвшая себя «Молодежь за коммунизм». Ее лидеры, Д. Петров, Р. Сафронов, К. Бегтин, также ориентировались на идеи «новых левых» и революционный марксизм в духе Че Гевары [145]. В начале 1980-х в среде студентов и выпускников МГПИ им. Ленина также появилось несколько групп с похожим идейным багажом, связанных с педагогическим «коммунарским» движением — «Всесоюзная революционная марксистская партия» Андрея Исаева и Алексея Василевецкого, «Отряд им. Че Гевары» Е. Маркелова и Л. Наумова и другие. Многие из участников этих групп уже через несколько лет станут играть активную роль в открытых организациях (в первую очередь, в Конфедерации анархо-синдика-

листов, КАС), возникших на волне общественного подъема первых лет Перестройки [146].

Самарские пролетаристы

Особое место среди социалистических групп этого времени занимает кружок рабочих куйбышевского завода им. Масленникова, действовавший в 1976-1981 гг. Лидер группы, инженер Алексей Разлацкий, еще весной 1974 года стал вдохновителем забастовки в литейном цеху ЗИМа, в ходе которой рабочие требовали бесперебойного снабжения молоком и минеральной водой и соблюдения норм безопасности. Вскоре вокруг Разлацкого возникает кружок, в котором регулярно обсуждается текущая политическая и экономическая ситуация, марксистская теория и эксплуататорский характер советского общества. Участники группы активно распространяли рукописные копии теоретических работ Разлацкого — «Второй коммунистический манифест» [146], «Кому отвечать?» [148] и других. Один из членов группы, Григорий Исаев, вспоминал, что за несколько лет самиздатские работы Разлацкого прочитали сотни людей [149].

Согласно Разлацкому, «общенародный» характер государства, закрепленный в программе КПСС и Конституции 1977-го, лишь маскирует окончательное отстранение рабочих от экономического и политического господства. «Гармония классов в общенародном государстве возможна только при отказе пролетариата от своих коммунистических целей, при согласии пролетариата работать на интересы других классов». Настоящим правящим является Администрация, которая «и выдвигает саму верхушку, и контролирует все ее решения». Условия для господства «Администрации» начали создаваться еще в 1930-е гг., когда Сталин, «глубоко владевший марксистской теорией», подавив оппозицию, лишился «возможности поверять свои политические решения поддержкой масс». Были «утрачены условия воспроизводства диктатуры пролетариата: она должна была умереть

со смертью Сталина» [150]. Осудив «культ личности», считал Разлацкий, партийная верхушка довершила дело контрреволюционного перерождения Советского Союза. Подобное развитие событий ожидало бы и Китай, если бы другой великий марксист, Мао Цзэдун, не попытался остановить перерождение революционным путем.

Политика «большого скачка» в Китае, а затем «культурная революция», по мнению Разлацкого, были «попыткой разжечь инициативу масс, пробудить их сознательное отношение к происходящим событиям». Однако этого сделать не удалось — «лишнее напоминание о том, что революции не делаются по заказу». После смерти Мао кризис рабочего движения переходит в заключительную стадию, находя свое выражение и в кризисе «пролетарской идеологии». Выход из этого кризиса возможен только на основе полной политической самостоятельности пролетариата, он «не может довериться никаким социальным слоям, даже порожденным самой пролетарской средой» [151]. Именно такую среду неизбежно порождает любое государство, создаваемое в результате рабочей революции. Поэтому новая партия пролетариата, создание которой стоит на повестке дня, не должна ни при каких условиях, брать всю полноту власти в свои руки. «Партия должна оставаться в противостоянии государству», не становясь его частью. Только через постоянное давление организованных рабочих на власть может обеспечиваться «постоянное воспроизводство диктатуры пролетариата в обществе», писал Разлацкий [152].

Взгляды Алексея Разлацкого, несмотря на специфическое сочетание с элементами сталинизма и маоизма, удивительно перекликаются с идеями ранней польской «Солидарности». Показательно, что 15 декабря 1981 года, через два дня после объявления генералом Ярузельским режима чрезвычайного положения в Польше, Алексей Разлацкий и Григорий Исаев были арестованы КГБ [153].

«Поиски»

В конце 1970-х в диссидентско-правозащитном сообществе образуется довольно разнородная группа, составившая редакцию самиздатского журнала «Поиски». Среди его создателей и авторов были как социалисты Петр Абовин-Егидес и Раиса Лерт, так и, например, выделявшийся даже в диссидентской среде антикоммунизмом и апологией свободного рынка Виктор Сокирко, который публиковал свои статьи под выразительным псевдонимом Буржуадемов [154]. Журнал формулировал свои задачи следующим образом: «...сбор разных идей для выработки общей программы демократической непримиримой оппозиции, которая пойдет в бой и, в конце концов, сломает это государство» [155].

Несмотря на активную роль социалистов в его издании, «Поиски» видели свою миссию в выработке общей платформы «демократической оппозиции», исходили из необходимости идейного оформления единого фронта политического сопротивления власти. Такой подход изначально предполагал восприятие диссидентского сообщества как некоей общности, пусть и объединяющей людей разных политических взглядов. Сложившееся же в реальности соотношение сил внутри этого сообщества было явно не в пользу левых. Как отмечал Борис Кагарлицкий, «достаточно просмотреть подшивку самиздатского журнала «Поиски», издававшегося совместно либералами и левыми, чтобы обнаружить, что никаких «поисков» уже не было, как не было и особой потребности что-то искать. Смысл диалога состоял в том, что либеральная часть редакции предъявляла требования и условия, которым левые должны были соответствовать, чтобы быть принятыми в приличное общество» [156].

К левым участникам «Поисков» было принято относиться с известным снисхождением. Сокирко, активно пропагандировавший на страницах журнала идеалы «свободного рынка», отмечал: «что касается Лерт и Егидеса, то это люди старого покроя, большевистского, особенно Егидес» [157].

Один из наиболее содержательных материалов «Поисков», написанных с социалистических позиций, — «Прошлое и будущее социализма», — принадлежал бывшим лидерам «Союза коммунар» 1960-х Валерию Ронкину и Сергею Хахаеву. Характерно, что статья начиналась со своеобразного извинения: «В настоящее время существует тенденция опровергать социализм, понимая под этим термином государственную собственность на средства производства и монопольное положение одной партии и идеологии» [158]. Социализм, убеждали Ронкин и Хахаев читателей журнала, это не «разрушительное учение, ставящее своей целью уничтожение семьи, религии, государства, нации, частной собственности, введение принудительного равенства и... уничтожение личности». Социалистические идеи несводимы исключительно к марксистскому наследию, в той или иной форме они существовали на всем протяжении истории человечества. Основания социализма, согласно авторам статьи, имеют не экономический, но социально-психологический характер. Это поиск «спасения личности от пустоты отчуждения, достижение гармонии индивидуального и общего». Классический пролетариат не может больше выступать в качестве субъекта социальных изменений, а «Маркузе совершенно прав, говоря, что современный рабочий класс интегрирован индустриальным обществом», где «ведущей силой... становится фигура инженера». Следуя в русле идей «постиндустриального общества», Ронкин и Хахаев утверждали, что именно производство знаний «станет важнейшей отраслью человеческой деятельности, а интеллигенция станет основной силой общества» [159].

По замыслу создателей журнала, «Поиски» должны были сформулировать общую повестку для диссидентского сообщества и политизировать его. Эта повестка предполагалась как выход за пределы узких доктринальных споров и шаг к созданию политической стратегии движения инакомыслящих. «Мы тогда искали политическую технологию (хотя так не говорили), способ навязать среде диалог... который при-

ведет к государственному изменению без катастрофы», — вспоминал член редакции «Поисков» Глеб Павловский [160].

С представлением о задачах журнала перекликалась опубликованная в номере №4 (1982 год) статья «Какова моя нынешняя позиция?» Яцека Куроня — одного из лидеров «Солидарности», а прежде важного представителя польской молодежной левой оппозиции 1960-х. Призывая не настаивать на слове «социализм», Куронь предлагал «движение требований в рамках официальной структуры... такая ориентация движения ставит своей целью не свержение системы, а ее улучшения» [161].

Сознательно избегая идейной поляризации внутри диссидентского сообщества и считая своей главной задачей проект объединения «демократической оппозиции», левоориентированная часть редакции все больше теряла собственную идентичность. Например, в 1982 г. появляется самиздатский текст, провозглашающий создание «Демократического объединения», в которое вошли, среди прочих, член редакции «Поисков» Абовин-Егидес и бывший активист молдавской социалистической группы Драгош. «Демократическое объединение», говорилось в тексте, «есть орган консолидации всех сил... для которых единой политической платформой может стать категорическое требование: «Коммунисты должны уйти!... наша цель — положить начало...движению, которое, в конце концов, упразднит и диктатуру коммунистической партии, и марксистскую идеологию» [162].

В то же время, на рубеже 1970-1980-х, часть социалистов — как уже известные участники диссидентского движения, так и новые группы—пытается переосмыслить задачи социалистической оппозиции, отношение к диссидентскому движению и свое место в нем.

Одной из таких попыток был сборник «Социалист-82», составителем которого был Михаил Молоствов, выступавший под псевдонимом «М. Болховской» [163]. В ряде статей сборника, также подписанных псевдонимами, СССР оценивался как государственно-капиталистическое общество, ос-

нованное на эксплуатации рабочих. Именно активность рабочего класса является главным залогом его преобразования на демократических и социалистических началах. Стратегией рабочего движения, утверждал один из авторов сборника, подписывавшийся псевдонимом Э. Рзя, должно быть ненасильственное сопротивление трудящегося большинства и подготовка всеобщей забастовки. «Сознание масс — вот тот нитротолуол, который взорвет мир насилия» [164].

Реальный опыт рабочего сопротивления анализировался в статье Я. Васина «Революция и контрреволюция в Польше». «Солидарность», по мнению автора, и была массовой «классовой организацией», противостоящей «совокупному капиталисту» — «партийному, военно-полицейскому и технократическому аппарату» [165]. Автор оценивал движение в Польше так: «пролетарски-классовая по методам, это была социалистическая по целям революция».

«Молодые социалисты»

В 1977 г. на истфаке МГУ возникает марксистская группа, основанная студентами Андреем Фадиным и Павлом Кудюкиным, к которой позже присоединяется и студент ГИТИСа Борис Кагарлицкий. Участники группы, известной как «молодые социалисты», считали себя преемниками социалистических групп времен Оттепели, контактировали с Валерием Ронкиным и научным сотрудником ИМЭМО, бывшим участником группы Краснопевцева, Маратом Чешковым. Чешков, занимавшийся сначала историей Вьетнама, а затем и общими проблемами развивающихся стран, оказал определенное влияние на формирование взглядов участников группы [166].

В 1977 был издан первый номер журнала «Варианты», — толстого машинописного ежегодника (всего вышло три номера), представлявшего собой своего рода теоретический орган группы. С 1979 г. начинается выпуск более регулярно издаваемого «Левый поворот», печатавшегося на папиросной бумаге в количестве примерно 20 экземпляров и распро-

странявшегося среди знакомых. После первых неприятностей с КГБ в конце 1980-го, закончившихся, в частности, отчислением Б. Кагарлицкого из института, издание было возобновлено под названием «Социализм и будущее». В 1982 году вся группа, насчитывавшая к тому времени около 15 человек (в целях конспирации общих встреч не проводилось, и некоторые члены группы были практически не знакомы друг с другом), была разгромлена КГБ.

Взгляды «молодых социалистов» основывались на серьезном переосмыслении в контексте советской действительности идей «западного марксизма», новых левых и еврокоммунизма. Хорошо владея европейскими языками (английским, испанским и французским) и имея доступ в спецхран ИНИ-ОНа, отдельные участники группы (Кудюкин, Фадин, Кагарлицкий) получили уникальную возможность знакомства с недоступными работами Троцкого, программными текстами «еврокоммунистов» (Ф. Клаудина и Э. Берлингуэра), а также таких принципиальных для западной левой мысли того времени авторов, как Иммануил Валлерстайн и Перри Андерсон. Большое влияние на идеологию группы также оказали труды классиков «западного марксизма» Антонио Грамши и Георга Лукача. Важным оставалось и влияние восточноевропейского «ревизионизма» (Лешек Колаковский, Рудольф Барро и др.) [167].

Как и для других подпольных социалистических групп, вопрос о социальной природе советского общества был одним из центральных для «молодых социалистов». Оценивая революцию 1917 г. как попытку модернизационного прорыва на периферии мирового капитализма, участники группы видели в этом основания для вырождения советской власти во всевластие бюрократического аппарата, неподконтрольного массам. «По мере того, как отмирают независимые Советы, расплывается рабочий класс, бюрократия увеличивает свою мощь» [168].

Тип общественных отношений, сложившийся в СССР, не является завершенной формацией, а бюрократический аппарат в этом обществе находится в состоянии эволюции, по-

степенно превращаясь в «этакратию». Последняя, согласно определению Чешкова, разделявшемуся частью «молодых социалистов», представляет из себя «общность классового типа», своего рода «класс в себе», но в то же время и не полноценный экономический эксплуататорский класс. Трудящиеся в этом обществе, наоборот, теряют свое классовое сознание, превращаясь в деклассированную массу «народа», производителей, лишенную власти и собственности, но не являющуюся пролетариатом [169].

Рассматривая социальные процессы в СССР в международном контексте, Кагарлицкий писал об «отложенной революции» западного рабочего класса. Поражение революции в СССР, сопровождавшееся всевластием бюрократии и массовыми репрессиями, привело к разочарованию в социализме масс европейских рабочих. «Только наглядный и вполне успешный эксперимент — победоносная революция — возвращающая социализму его подлинное человеческое лицо, мог бы убедить массы избрать революционный путь и порвать с реформизмом» [170].

Подъем левого движения на Западе в 1960-е гг. показал не только сохранившийся потенциал рабочих, но и подчеркнул возрастающее значение интеллигенции как революционной силы. «Рабочий класс отложил свою революцию, но интеллигенция продолжала борьбу за социализм». В основе этого явления лежала общемировая тенденция «перепроизводства» интеллигенции — как на Западе, так и в СССР. Интеллигенция не заменяет рабочих в качестве революционного субъекта, но дополняет его, все чаще выступая в его авангарде. Ссылаясь на Маркузе, Кагарлицкий отмечал, что в 1968 г. «малый мотор студенчества — самой динамичной интеллигентской группы, — должен был завести большой мотор рабочего класса» [171].

Огромное значение для процессов общественных изменений имеет интеллигенция и в Советском Союзе. Противостоя как правящей бюрократии, так и лояльным к ней собственным верхним слоям, советская интеллигенция должна

завоевать гегемонию в обществе. Относительно успешный пример такого союза оппозиционной интеллигенции и рабочего движения в борьбе за перемены участники группы увидели в опыте польской «Солидарности».

Именно поэтому для «молодых социалистов» была важна борьба с фактической идейной гегемонией либералов и консерваторов в среде оппозиционной советской интеллигенции. Полемике с ними, в частности, были посвящены многие материалы «Левого поворота» [172].

Как полагали участники группы, нарастающий кризис бюрократической советской системы неизбежно подтолкнет часть правящей элиты к проведению реформ. Начало этого процесса, в свою очередь, станет стартом для массового движения, за руководство которым будут бороться уже существующие внутри оппозиционной среды идейно-политические течения.

Этот прогноз, сделанный всего за несколько лет до начала Перестройки, как мы знаем, полностью подтвердился. Бывшие участники группы «молодых социалистов», также как и других левых диссидентских групп, активно включились в строительство новых организаций, открытых и действовавших внутри массового движения.

2009 г.

«Сатанинская мельница») и машинист Петерсон

«Подарки по телефону» Алоиса Бренча, вероятно, одна из самых удивительных детективных историй позднего советского кинематографа. Рига, конец 1970-х годов. Машинисту Петерсону постоянно звонит неизвестный, который странным, нечеловеческим голосом благодарит его за отличную работу и сообщает о переводе очередной значительной суммы денег на сберегательный счет. Растерявшись и не зная, что предпринять, машинист постепенно впадает в отчаянье. Он как будто виновен, но не понимает в чем именно. В постоянно воспроизводимый жизненный цикл Петерсона, ограниченный семьей и работой, вторгается иная, пугающая логика. Эта логика является одновременно и внешней (так как не имеет никакой видимой связи с повседневным существованием Петерсона), и внутренней — она как бы пробуждает скрытые, темные стороны души латвийского машиниста. Темная сторона души Петерсона оживает и вступает в борьбу со светлой (чистой совестью стандартного советского гражданина) тогда, когда вопреки своему сознательному решению, он вовлекается в отношения теневой экономики, могущественного рынка, скрытого от света дня.

Мучительные мысли о деньгах, корысть, конкуренция, постоянная необходимость скрывать свои действительные чувства и мотивы — все это неуклонно разрушает и цельность отдельного советского человека, и общую ментальную конструкцию советского общества. Действительное расщепление социальной реальности, в которой теневая экономика наслаивается на плановую, постепенно растворяя ее в себе, оборачивается расщеплением личности. Душа Петерсона становится аренной манихейской борьбой добрых намерений и усвоенных через общество высоких моральных принципов с темными страстями, адской силой материального интереса. Выясняется, что несчастный машинист практически одинок в этой битве: он не может обратиться в милицию, его не понимают близкие и коллеги. Единственный способ — взять себя

в руки и попытаться сделать тайное явным. Петерсон вооружается фотоаппаратом и начинает фиксировать все подряд: погрузку и разгрузку товарных вагонов, подозрительные или растерянные лица рабочих на станции. В конце концов это помогает раскрыть подпольную сеть контрабандистов (которая, разумеется, поголовно состояла из сотрудников железной дороги, живших двойной жизнью), посредством подкупа вербовавшую исполнителей и соучастников. Все вроде закончилось, но Петерсон уже никогда не будет прежним.

Фильм Бренча предельно обнажает и радикализирует странную модель, характерную для многих позднесоветских детективов. В них не так часто можно встретить классическую историю индивидуального преступления, с жертвой и скрывающимся нарушителем, злой замысел которого постепенно становится понятным под воздействием безупречной работы умного следователя. Например, такого рода сюжеты составляют очевидное меньшинство в хрестоматийном сериале «Следствия ведут знатоки». Гораздо чаще речь идет здесь именно об экономических преступлениях, о попытках — иногда внутренних, иногда внешних — подрыва не столько советского государственного строя, сколько советского общества. Такой подрыв так или иначе связан со стремлением переопределить то место, которое в этом обществе занимает частный интерес. Сквозь отношения взаимопомощи, солидарности, бескорыстной дружбы или любви как бы проступает иной, скрытый «экономический человек». В борьбе за постоянное расширение зоны собственного комфорта он оказывается способен на чудовищное предательство и коварство. В нем будто просыпается дремлющий криминальный инстинкт, невероятную разрушительную силу которого уже не в состоянии сдержать принятые социальные нормы или карающая сила государства. Подобно зубам дракона, он прорастает вновь и вновь из отравленной почвы фатально расщепленной реальности брежневского «застоя».

Последовательно просматривая все серии «Знатоков», с начала 1970-х до поздних 80-х, можно заметить неуклонный

рост отчаянья и пессимизма следователя Знаменского и его верных друзей. Год за годом они сажают спекулянтов, накрывают подпольных цеховиков и фарцовщиков, выводят на чистую воду коррумпированных хозяйственников низшего звена. Они постоянно осуществляют хирургические интервенции, удаляя нарывы на теле гниющего общества. Но чем больше стараются «знатоки», тем более очевидным становится масштаб проблемы.

Советский детектив, уверенный в себе и ощущающий за свой спиной мощь государства, начинает все больше осознавать, что имеет дело не с частным преступлением, имеющим начало и конец в виде неизбежного наказания, но с колоссальным, циклопическим Преступлением, соучастниками которого являются тысячи и сотни тысяч никак не связанных между собой людей. Ужас этого Преступления в том, что оно пребывает в состоянии постоянного, неуклонного становления. Оно еще несовершенно, но только начинает осуществляться.

Милиция или КГБ, эти мощные аппараты советского «этического государства», могут беспощадно пресекать отклонения, ловить шпионов или выкорчевывать «пережитки прошлого», но они бессильны перед распадом и деградацией общества. Советский милиционер эпохи «застоя» — это не действующий разум, обнаруживающий частную истину, но печальный свидетель грандиозной картины разрушения социума.

В своей знаменитой книге «Великая трансформация» Карл Поланьи описывает возникновение «цивилизации XIX века», в которой впервые в истории появляется и устанавливает полную гегемонию идея рынка как саморегулируемого, тотального порядка. Деньги и обмен, прежде бывшие лишь функциями (не всегда необходимыми) социальной жизни, отныне подчиняют себе общество со всеми его производными. «Теперь уже не экономика «встраивается» в систему социальных связей, а социальные связи — в экономическую систему... общество должно быть устроено таким образом, чтобы обеспечивать функционирование этой системы согласно ее собственным законам» [1]. Рынок превращается в

«сатанинскую мельницу», безжалостно перемалывающую все, что создает препятствия его безостановочной экспансии. Описывающая этот новый порядок вещей социальная теория быстро принимает его как нечто естественное и соответствующее человеческой природе. Вся предшествующая история представлялась апологетам свободного рынка как поступательный прогресс, в ходе которого последовательно исчезали любые препятствия на пути конкуренции и взаимовыгодного обмена каждого с каждым.

Единственное оправдание, которое можно было найти для драматической советской истории, состояло в его изначальной амбиции создать принципиально не-рыночное общество. Или точнее, — через насилие и колоссальное напряжение сил, дать обратный ход «сатанинской мельнице», осуществив возвращение обществу его поправленных прав. Это возвращение, по мысли Ленина, могло стать возможным только через «отмирание государства». Главная цель нового советского репрессивного аппарата, таким образом, заключалась в последовательном самоуничтожении, в отрицании себя как силы, способной постоянно укрощать общество, призывая его к порядку и дисциплине. Сталинизм, как и наследовавшее ему постсталинское государство, подменив недоверие к самому себе недоверием к обществу, подписало себе отложенный во времени смертный приговор. Его бесконечная вера в собственную репрессивную мощь и моральную безупречность в конце концов обернулась бессильным фатализмом советского милиционера, с ужасом осознающего неизбежный реванш рынка.

Голос, преследующий машиниста Петерсона, оказался предвестником подлинного капиталистического Преступления. Голосом из будущего, обращенным в гибнущее позднесоветское настоящее.

Две очереди

Можно уверенно сказать — очередь в СССР в полной мере состоялась как интеллектуальный и литературный факт. Советским очередям посвящены десятки исследований и фельетонов, произведений искусства и публицистических зарисовок. Изобретательная западная советология также не обошла очередь своим вниманием, превратив ее в мишень для иронических замечаний и яркий иллюстративный материал к общему сочному и непознаваемому абсурду советской действительности. В низком и высоком жанрах, в диссидентских рефлексиях и народном фольклоре, в строгой социологии и филологических исследованиях, очередь опознавалась как часть особого, специфически советского опыта.

Вне связи с этим опытом, за пределами советского, очередь мгновенно лишается качеств объекта, достойного внимания. Постсоветская очередь никому не интересна — пожалуй, кроме своих участников. Ведь по умолчанию считается, что экономический, социальный и культурный контекст современной постсоветской очереди формируется рынком — который, при всей своей локальной специфике, несовершенстве механизмов и недостаточной эффективности (что принято к тому же списывать на пережитки советского) — подчинен некой универсальной логике, «невидимой руке», умелая и бесшумная работа которой направлена в том числе на устранение любых очередей. В отличие от старой очереди, этого мощного оружия, направленного на критику советского общества, современную русскую очередь принято считать не более чем недоразумением. И поэтому внимательный взгляд исследователя и художника Антонио Мунтадаса на очередь эпохи нового русского капитализма — неизбежно содержит в себе и критику не утратившего свою силу антисоветского дискурса о советской очереди.

Феномен очереди представлял исключительную важность для критиков «реального социализма», так как становился в их глазах своего рода живым воплощением со-

циалистической идеи. Советская очередь оказывалась определяющим элементом повседневности, неразрывно связанной с утопическим, иррациональным и неестественным социальным проектом. Согласно антисоветскому канону, социализм — это внеисторическая, темная и противостоящая любому живому проявлению сила, направленная на воплощение в своих самых предельных формах казарменного равенства. Так, Игорь Шафаревич в своей программной статье о социализме из знаменитого сборника «Из-под глыб» (под редакцией Солженицына) оценивал его как существовавший на протяжении всего исторического развития «инстинкт смерти человечества» [1]. Подавляя индивидуальность, насаждая равенство, противное самой натуре человека, социализм соответствующим образом стремится переустроить жизнь общества. При социализме нет места случайности или ошибке — любой элемент этой системы подчинен одной задаче: умножать мучения, делать жизнь каждого отдельного человека невыносимой. Скучная и бессмысленная работа, тесная квартира, неудобный транспорт, наконец, бесконечные, невыносимые очереди — все это лишь составляющие зловещего ритуала. Эмигрант-автор фельетона в *Washington Post*, например, утверждал, что «очередь есть весьма хитроумное и удачное нововведение в области рассеяния человеческой энергии... жизнь без очередей... очень опасна для государства. Чем люди заполняют день, если не придется стоять в очередях?» [2].

Очередь оказывалась в этой родственной теориям заговора схеме не следствием недостатков в распределении, не «пережитком прошлого» (в чем состояла официальная интерпретация этого явления), не сбоем в работе системы, но важной частью ее неписаных правил и ритуалов. Так, используя подобный подход, очередь можно было легко связать с пропагандистской фигурой ожидания коммунистического будущего или официальными догмами последовательного преодоления общественных формаций на пути к социализму [3]. Экономическая причина очередей — дефицит — так-

же оказывался в этой модели чертой, имманентной социалистическому планированию. «Очередь была неизбежным атрибутом советской жизни, видимым образом товарного дефицита, который... был не результатом случайных ошибок или отдельных просчетов плановой экономики, но ее... родимым пятном» [(4)]. Если идеологи советского социализма определяли его как общество максимального удовлетворения потребностей, то антисоветский канон, наоборот, превращал перманентное недопотребление в чуть ли не основной признак социалистического общества. [5]

Согласно такому подходу, вдохновленная марксизмом социальная инженерия, осуществляя насилие над любым проявлением природы — будь то «человеческая натура» или «законы экономики» — могла создавать, подобно уэллсовскому доктору Моро, только монстров. Очередь, как общественное явление, несла на себе печать этого врожденного уродства. Присущие самой структуре очереди элементы самоорганизации, коллективности, рождавшиеся в очередях модели общения — опознавались только как вынужденное и вторичное.

Однако советские очереди во всем своем многообразии — живые и «по записи», «видимые» и «невидимые», хозяйственные и административные — отражали реальные противоречия советской общественной системы, ее сложную и непрозрачную структуру. В очереди, в концентрированном виде, находили себе место парадоксальные сочетания советской реальности — стремление к равенству и утверждение иерархий, стихийной солидарности и ожесточенной конкуренции за скудные блага.

Так, эгалитаризм этого вынужденного сообщества носил специфический характер — ведь именно через неучастие в очереди опознавалось номенклатурное меньшинство. Его особые права по отношению к большинству были основаны не только в самом доступе к недоступным для остальных товарам, но и — что было не менее важно — в исключительном, связанном с колоссальной экономией времени и сил, способе приобретения этих товаров. Именно поэтому сегодня

ня, когда мы оглядываемся назад и обращаемся к истории знаменитых привилегий советской бюрократии, то поражаемся ее скромности и скудости потребительских фантазий (особенно в сравнении с современной российской элитой). Природа массовой ненависти к привилегиям, которая не в малой степени вдохновляла протестные движения времен Перестройки, объяснялась не масштабами особых прав номенклатуры, но самим фактом их наличия, так бросавшимся в глаза. Несправедливость состояла не столько в том, что кто-то приобрел квартиру, машину или деликатесы, но в том, что это приобретение было осуществлено вне общего для всех граждан порядка.

Принципиально было именно нарушение очередности, возведенное в правило. Ведь необходимо помнить, что наравне с привилегиями в позднем СССР существовали альтернативный способ безочередного потребления — через колоссальный сектор неформальной экономики, «черного рынка». Однако именно вопрос привилегий, — а не постоянно возраставшее социальное неравенство, — приобрел политическое значение, и к середине 1980-х смог дать старт популистским политическим карьерам Бориса Ельцина и других лидеров «Демократической России». Жгучее чувство протеста многократно усиливалось, обретало свой язык и уверенность в собственной правоте только в бурлящем и возмущенном коллективе, созданном очередью.

Экономический и социальный кризис, сопровождавший последние два года существования советской системы, превратил очереди в настоящую машину производства протестных настроений. Фактическое введение карточной системы не просто резко повысило градус массового недовольства курсом союзного правительства, но и оказывалось настоящей школой политической риторики и самоорганизации. Эту роль очередей как политического воспитателя масс можно проследить во многих революциях, от «бешеных» времен Первой французской республики до стихийных выступлений в Петрограде в феврале 1917-го года. Очередь

предшествовала общественным изменениям, вселяя гнев в большие самоорганизованные группы людей, но никогда не становилась самостоятельным политическим фактором, подчиняясь в определенный момент обладающему четкой стратегией руководству извне.

Как форма сообщества, «советская очередь» может быть признана таким же исторически сложившимся понятием, как и, например, «арабская улица». Однако, в отличии от «арабской улицы», совсем недавно в очередной раз подтвердившей свое важное политическое значение, наша очередь как уникальное социальное и культурное явление навсегда осталась в прошлом.

Но сами очереди не исчезли — и место одних, порожденных государственным распределением, заняли другие, связанные с диспропорциями рынка. Попытки некоторых ангажированных наблюдателей объявить вторые не более, чем рецидивом первых, очевидно не состоятельны [6]. Конечно, в современной России сохраняются очереди, создаваемые в государственных учреждениях — паспортных столах, поликлиниках или отделениях Сбербанка. Однако абсолютное большинство очередей не только не вступают в противоречие с присущей рынку свободой выбора, но становятся наглядным атрибутом успеха в конкурентном соревновании. Теперь нахождение в очереди — это не вынужденное подчинение безальтернативности государственной монополии, но сознательный и гордый выбор потребителя. Современные очереди не только не утверждают равенство (пусть и равенство нужды), но играют роль классового маркера. Отныне возможность не находиться в них становится не вызывающим недовольство исключением из правил, но свидетельством личного успеха.

Очереди в магазинах в периоды распродаж или терпеливое ожидание свободного столика в популярном ресторане в пятничный вечер являются недвусмысленной иллюстрацией свободной и взаимовыгодной сделки, заключаемой «экономическим человеком» по обе стороны прилавка.

Нахождение в очереди отныне индивидуализировано, и скопление людей перед кассой магазина лишается всякого социального значения, общих этических правил и любых форм сопереживания. Один из самых распространенных типов сегодняшней российской очереди — дорожная пробка — исчерпывающе демонстрирует колоссальную степень отчуждения, конкуренции и агрессивной дистанции между своими участниками.

Очередь теряет любые признаки коллективности — как, впрочем и все пост-советское общество, распавшееся на атомы отдельных и настороженных по отношению друг к другу существований. Среди выстроившихся в ряд потребителей непредставимо пространство коммуникации, общность языка. Эта очередь отсутствует на карте форм социального взаимодействия и культуры, и потому она не может быть описана через литературу — как это посчастливилось очереди советской (например, в известном произведении Владимира Сорокина). И если для советской очереди социальный опыт был отправной точкой для строительства сложных и развивавшихся дискурсивных конструкций, то сегодняшний опыт напряженного и неразговорчивого потребления начинается и заканчивается в самом себе. Именно на тонкой работе с этим ускользающим опытом построен проект Антонио Мунтадаса. Скупыми переживаниями одинокого участника очереди невозможно поделится с окружающими, каждый из которых является потенциальной преградой на пути к удовлетворению возрастающих потребностей. Очередь, как и другие пока непознанные и непонятые феномены современного российского общества, нуждаются в фиксации, в точном наблюдении, в калькуляции простых свидетельств и знаков нашей коллективной постсоветской травмы.

Текст написан в 2011 году для каталога выставки испанского художника Антонио Мунтадаса «Внимание: восприятие требует участия».

Парадокс морального антиамериканизма

После нескольких месяцев затянувшегося торжества в российском мейнстриме по поводу победы Трампа говорить об антиамериканизме как о глубоком и устойчивом элементе общественного сознания довольно сложно. Напротив, куда проще признать его временный и управляемый сверххарактер. Собственно, такого рода послание новой американской администрации и содержат прокремлевские медиа: смотрите, как легко и виртуозно мы можем воздействовать на настроения своего населения, — так же быстро, как из вашей страны был создан образ главной внешней угрозы, а из Барака Обамы — монстр и поджигатель войны, мы сможем представить Трампа как доброго друга и ответственного партнера. Самим «хозяевам дискурса» с российского TV такая операция, видимо, представляется чистым делом техники. Однако в реальности успехи нынешней антиамериканской пропаганды никогда не были ее собственной заслугой.

Антиамериканизм в России является не минутной эмоцией, но имеет свою историю и разработанный аппарат понятий и ассоциаций. Восходя к началу Холодной войны, советский антиамериканизм постепенно складывается как динамичное сочетание двух уровней: политического и морального. Если первый определялся противостоянием сверхдержав, то второй обращался к борьбе за душу каждого отдельного советского человека. Америка представлялась силой, пробуждавшей ее темные, бессознательные стороны — жадность, необузданную сексуальность, склонность к примитивной культуре, обращенной к низким страстям и желаниям. По мере снижения уровня конфронтации политический антиамериканизм становился более сдержанным, тогда как моральный, напротив, расширял свое присутствие в литературе и публицистике.

Это видно, например, в известном романе Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?», опубликованном в 1969 году. Его основной сюжет строится вокруг тайной миссии группы

сотрудников ЦРУ, направленной на разложение советской молодежи и вербовку агентов. Каждый из шпионов имеет свою специализацию в поиске «слабых мест» общества, его нестойких элементов, и выступает как опытный искуситель. Неформальным лидером группы является сексапильная славистка (Slavic studies) Порция Браун. Ее основная аудитория — непризнанные художники и поэты, охваченная тщеславием и эгоизмом богема. Подручный Порции, вечно улыбающийся блондин Юджин Росс, ищет спекулянтов и модников, разжигая страсть к бездумному и безответственному консьюмеризму.

Эти опасные американцы ничего не говорят о превосходстве демократического устройства или рыночной экономики, так как обращаются не к разуму, а к телу. Порция показывает комсомольцам стриптиз, а Юджин приучает пить виски с содовой — алкогольный напиток, который приятно расслабляет и притупляет внимание. В решающий момент этой победы аффектов над рассудком включается пластинка с рок-н-роллом: «пошла та музыка, под воздействием которой человек постепенно начинает дергаться. Сначала он отбивает такт одной ногой, затем включается в это и вторая нога, позже в ход идут уже и руки, плечи, голова, бедра, спина. Все тело ходит ходуном».

Согласно Кочетову, Америка проникает как вирус в советское общество, иммунитет которого серьезно ослаблен. Новое поколение советских людей, выросшее после Второй мировой войны, больше не способно к самоконтролю и, под влиянием внешних возбудителей, начинает бессознательно воспроизводить поведение рыночного homo economicus. Противостоять этому могут лишь отдельные идейные коммунисты и силовые структуры государства.

Нараставший кризис советского общества (отдельные проявления этого кризиса — такие как рост теневой экономики и разочарование в социализме — на самом деле были верно описаны в романе Кочетова) антиамериканизм объяснял как следствие внешней причины, тайной войны с целью

морального разложения советского человека, организованной ЦРУ.

С начала 1980-х, когда этот кризис вступает в финальную фазу, получает распространение культовый документ морального антиамериканизма — так называемый «план Даллеса» по уничтожению СССР. Как и «Протоколы сионских мудрецов» (представлявшие собой искаженный отрывок из памфлета французского писателя Мориса Жюли), «план Даллеса» также имел литературную основу — монолог отрицательного героя романа Анатолия Иванова «Вечный зов». От лица злодея в этом тексте излагается масштабная программа морального разложения советского общества через внедрение «ложных ценностей». Сила этих ценностей заключена в их бессознательном характере: это «культ секса, насилия, садизма, предательства», «пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом». Перед нами ужасные результаты победы тела над духом, частных интересов над общими.

Дискуссии о подлинности «плана Даллеса», развернувшиеся в 1990-е гг. между националистическими конспирологами и прозападными либералами быстро зашли в тупик. Ведь главным доказательством в пользу реальности «плана» были не рациональные аргументы, но его фактическое осуществление: не так важно, кто на самом деле написал этот текст, Аллен Даллес или Анатолий Иванов — важно, что Советский союз действительно развалился, а хаос первоначального накопления сопровождался необузданным насилием и деградацией общества.

Позднесоветский моральный антиамериканизм не только не объяснял природу внутренних противоречий советского общества, которые привели к его концу, но и сам был их проявлением. Он был показателем глубокого недоверия советского государства к своим собственным идейным основаниям. Пафос морального антиамериканизма был действительно направлен против проникновения рынка, — но не с социалистической, а с консервативной позиции. «Сущность» человека рассматривалась им как греховная и

эгоистическая. Это зло, которое рвется наружу, необходимо постоянно сдерживать при помощи государственной дисциплины и репрессий.

Постсоветский режим, включая его путинскую трансформацию, стал торжеством логики рынка, полной победы частного интереса над общим. Более того, цинизм и моральный релятивизм составляют важный мотив современной российской идеологии, «здорового смысла», объединяющего элиты и массы: каждый хочет лишь удовлетворения своего частного интереса. Люди добиваются государственных должностей, чтобы обогатиться, — или выходят на митинги оппозиции, чтобы получить за это деньги (разумеется, американские). Это естественно, человек так устроен. И когда вас начинают убеждать в обратном, рассказывая о гражданском долге или демократических ценностях — перед вами наверняка лицемер и лжец. Подобное же объяснение применимо и для внешней политики — страны, как и люди, лишь ищут выгоды для себя, а западная риторика универсальных ценностей — трюк, рассчитанный на простаков.

Идеологический парадокс, однако, состоит в том, что этот цинизм вполне сочетается с элементами морального антиамериканизма, унаследованного от времен позднего СССР. Сочетание этих двух моментов впервые было представлено в программном для путинской эпохи фильме «Брат-2» Алексея Балабанова (2000 г.). Новый русский герой Данила, используя неограниченное насилие, побеждает криминального американского магната и восстанавливает попорченную справедливость. Содержание морального урока, который Данила дает американцам, — «сила не в деньгах, а в правде». Американец может эксплуатировать российские ресурсы до тех пор, пока все встреченные им русские подтверждают его представление о жадности как основе человеческой природы. Однако Данила убеждает американца в том, что русские — это не просто случайное собрание людей со своими интересами, но, прежде всего, коллектив, обладающей общей судьбой. Русский может стремиться к

богатству, сексуальному удовлетворению и успеху (в конце концов, он тоже человек), но он должен при этом оставаться верным себе — т.е. своей национальной принадлежности и исторической судьбе России.

В новом антиамериканизме путинской эпохи главной проблемой становится не темная страсть к потреблению, возбуждаемая Америкой, но необузданная сексуальность. Потребление теперь не только не ослабляет единство нации, но наоборот, поддерживает и укрепляет национальную экономику. Сегодня вряд ли кто-либо сможет разглядеть следы американского заговора в гипертрофированном стремлении российской элиты к роскоши или принявшей угрожающие масштабы кредитной зависимости большинства населения страны. Опасность сегодня исходит с другой стороны — от гомосексуализма и феминизма, разрушающих традиционную семью.

Структура морального антиамериканизма, таким образом, сохранена, но ее содержание значительно изменилось.

Это изменение, если разобраться в нем серьезно, отражает одно из главных противоречий официальной государственной идеологии — между ритуальной преемственностью СССР и его содержательным отрицанием. Нынешняя Россия не только не провозглашает универсальные ценности социального равенства, альтернативные американским, но и настаивает на их невозможности. Ведь это и есть «правда», с которой сегодня уже мало кто может поспорить.

Кто же стоит за троцкистским заговором?

Пару дней назад, выступая на собрании актива своего Объединенного народного фронта, Владимир Путин сообщил: «Это у Троцкого было: движение — все, конечная цель — ничто. Нам нужна конечная цель». Искаженная формула Эдуарда Бернштейна, почему-то приписываемая Льву Троцкому, является, вероятно, уже самой распространенной оговоркой российского президента. Многие годы он повторяет ее перед журналистами и функционерами, рассуждая о социальной политике, проблемах олимпийских долгострелов или недовольстве «креативного класса». «Демократия — это не анархия, не троцкизм», — предостерегает Путин.

Его «антитроцкистские» инвективы не зависят от контекста, на них не влияет аудитория. И уж тем более они не являются скрытой угрозой существующим в наши дни в России небольшим политическим группам, заявляющих о себе как о наследниках Четвертого Интернационала. Путинский «троцкизм» иного рода — его причины не в настоящем, а в прошлом, и скрываются глубоко в политическом бессознательном последнего поколения советской номенклатуры.

Странный миф о «троцкистском заговоре», возникший десятилетия назад, в другую эпоху и в другой стране, переживает второе рождение на протяжении всего путинского правления. И, видимо, чувствуя, какую личную слабость президент питает к «троцкизму», услужливые медиа и прикормленные эксперты превратили этот «троцкизм» в неотъемлемую часть большого пропагандистского стиля. Неутомимый «троцкист» Березовский, пока не умер, плел мерзкую паутину из Лондона. Зажигательный «троцкист» Лимонов, пока не превратился в патриота-охранителя, совращал молодежь экстремизмом. Замаскированные «троцкисты» из администрации Буша, а затем и Обамы, продолжают сеять войны и «цветные революции». Срывание масок с «троцкистов» стало до такой степени важным ритуалом, что с него, «на счастье», решил запуститься новый медиа ре-

курс знаменитого Дмитрия Киселева. Так с чего же началась история этого заговора? И при чем здесь троцкисты?

Теории заговоров по природе своей всегда консервативны. Они не дают альтернативную оценку происходящему, но, постоянно опаздывая, следуют за событиями и вписывают их задним числом в собственную пессимистическую версию истории. Так, пионер конспирологии Нового времени, иезуит де Баррюэль в своих «Заметках по истории якобинства» (1797) поместил уже случившуюся французскую революцию в катастрофический финал грандиозного заговора средневекового ордена тамплиеров против церкви и Капетингов. Теория масонского заговора превратилась в по-настоящему мощное течение во второй половине XIX века — тогда, когда пик настоящего могущества масонов уже миновал. Наконец, идея еврейского заговора обрела законченные формы в «Протоколах сионских мудрецов», сфальсифицированных царской охранкой на рубеже XX века, когда сила еврейского финансового капитала уже была подорвана восходящей силой капитала промышленного. В такой искаженной связи с реальностью конспирология всегда черпала энергию, ведь чем меньше предполагаемых адептов заговора наблюдалось в действительности, тем смелее их можно было наделять невероятными волшебными свойствами в воображаемом мире.

В духе этой реактивной, запаздывающей природы конспирологии миф о «троцкистском заговоре» появляется в СССР тогда, когда Левая оппозиция — течение настоящих сторонников Троцкого — была давно уничтожена. Однако в отличие от «заговоров» прошлого, созданных тайными агентами и безумными литераторами, основы идеи «троцкистского заговора» были организованно заложены следователями НКВД. Логика амальгам времен «Большого террора» подсказывала: да, троцкист умело скрывается, им может оказаться каждый, но заговор должен быть непременно раскрыт. Неписанный закон сталинского социализма предполагал, что тайное всегда становится явным — и это, конечно, лишало конспирологическую модель характерной загадочной ауры.

После смерти Сталина, когда «чистки» навсегда остались в прошлом, а советское общество стало приобретать качество заторможенной, консервативной социальной структуры, миф о заговоре обрел более привычные черты. Период «застоя» создал для конспирологии идеальную питательную среду — общую вялость, недоверие, социальную депрессию. Живых троцкистов уже давно никто не видел, доносить на них вроде как-то глупо — но об опасности троцкизма все прекрасно осведомлены.

На бессмысленных занятиях по «истории партии» миллионы советских студентов узнавали о врагах социализма, троцкистах, побежденных когда-то давно в открытом бою. Миллионными тиражами издается «антитроцкистская литература», выделившаяся к 1970-х в отдельный, обладающий своим каноном литературный жанр. Его главная отличительная черта — свободное «изобретение» троцкизма, его полная эмансипация от каких-либо связей с действительным, историческим, троцкизмом.

Собственно, «троцкизм» советской пропаганды — это воплощенная бесструктурность, недоразумение. Это «безжизненные схемы, софистика и метафизика, беспринципный эклектицизм... грубый субъективизм, гипертрофированный индивидуализм и волюнтаризм». В отличие от классических чудовищ конспирологии, масонов и сионских мудрецов, троцкисты не управляли миром. Это были заговорщики-неудачники: их всегда разоблачали — если своей поспешностью и импульсивностью они не успевали разоблачить себя сами. В духе сталинского соцреализма их неумелые злобные действия вызывали приступы гомерического хохота народа и партии. И тем не менее, оправившись от позорного поражения, они пробовали снова и снова. У троцкистов не было ясного плана установления глобального господства — но, не имея четкой цели, они были опасны именно своим страстным желанием привносить хаос туда, где царила гармония, предсказуемость и порядок.

В своей деятельности эти троцкисты руководствовались сумасшедшей «теорией перманентной революции» (содержательно не имевшей с теорией Троцкого ничего общего, кроме названия). Ее суть в том, что революция не должна иметь ни географических, ни временных ограничений. У нее нет целей, нет конца и нет смысла. Она ставит вопросы там, где все вопросы уже давно решены. Вносит сомнение туда, где все сомнения уже давно сняты. Нормальный человек никогда не сможет понять в этой теории ничего, кроме одного — она придумана, чтобы портить ему жизнь.

Басманов, автор культовой книги «Троцкизм в обзоре реакции», отмечал: «В отличие от многих других политических течений, имевших возможность подтвердить свои идеологические и политические доктрины практикой государственного строительства, троцкизм за все годы существования не выдвинул ни в одной стране положительной программы действий». Это течение настолько деструктивно, что «своим доведенным до абсурда космополитизмом, исключаяющим возможность выработки национальных программ, троцкизм подрывает позиции даже собственных «партий» в тех или иных странах... троцкизм запутывается в сетях собственных теорий».

Важно, что идея троцкистского заговора против практического разума, реальности и стабильности в позднесоветском обществе никогда не была народной, растущей, подобно «кровавому навету», из темных предрассудков толпы. Она оставалась кошмаром лишь одного слоя: правящей бюрократии, передававшей будущим поколениям на партийных курсах и школах КГБ миф о бессмысленной и беспощадной «перманентной революции».

Советская теория «троцкистского заговора» отражала подсознательный страх управляющих перед неуправляемостью. Легенда о троцкизме, лишенная какой-либо субъектности, стала чем-то вроде «черного лебедя» времен «реального социализма».

В этом, кстати, ее принципиальное отличие от версии «троцкистского заговора», популярного у части американских консерваторов. В Америке это лишь один из многочисленных изводов «заговора меньшинств», дорвавшихся до власти и внедряющих сверху свои антихристианские глобалистские идеи. Тот факт, что антитроцкистская конспирология т.н. «палеоконсерваторов» стала популярна в последние годы среди кремлевских экспертов и политологов, указывает лишь на дефицит воспроизводства старой, советской модели «троцкистского заговора».

Путая Бернштейна с Бронштейном, Владимир Путин, однако, не изменяет именно советской антитроцкистской легенде. Да, «цель ничто, движение все». Хаос, который создается в результате движения, неотвратим, как неотвратимо само время. Оно неумолимо движется к «перманентной революции», которую нельзя завершить и с которой нельзя договориться.

В недавнем интервью Глеб Павловский, умело обходя проблему «троцкизма», тем не менее, говорит о Путине следующее: «Испугался самого себя. Куда идти дальше. Дальше-то что? Это ужасная проблема в политике — проблема второго шага. Шагнул дальше того, на что был готов, и потерялся: куда теперь?... очень заметен разрыв между Крымом и последующими действиями. Видно, что дальше все шло как импровизация или реакция на чужие действия. Люди, боящиеся будущего, запрещают себе обдумывать выбор пути. Когда у тебя не поставлены достижимые цели, начинаешь колебаться между двух полюсов — то ничего не делаешь, то ввязываешься в колоссальный конфликт».

Самое страшное, что «призрак троцкизма» — как уже случалось в истории со многими другими призраками — вполне способен материализоваться. Постсоветская система вступает в полосу кризиса, когда у правящей элиты остается все меньше и меньше шансов управлять процессами в «ручном режиме». Для того, чтобы «троцкистский» кошмарный сон элит стал реальностью, нет необходимости в живых

троцкистах. Необходимость в них возникает лишь тогда, когда до того молчавшие и терпевшие силы приходят в себя и ставят вопрос о своих собственных «целях». Но это будет уже совсем другая история.

Интеллектуалы и Холодная война: от трагедии к фарсу выбора

О «новой Холодной войне» между Россией и условным «Западом» сейчас принято говорить, как об очевидном и бесспорном факте. Еще весной новые контуры мировой политики, только обозначенные волной санкций и взаимными риторическими выпадами, мгновенно были опознаны самыми широкими кругами, в том числе и максимально далекими от принятия решений — и в России, и на Западе — как возвращение к знакомым и пугающим принципам мирового порядка второй половины прошлого века.

Почти семь десятилетий назад эти принципы, сперва намеченные правящими элитами, затем последовательно утверждались на всех уровнях — от сознания интеллектуалов до практик повседневности большинства. Воспринятая обществом, реальность постоянной психологической мобилизации и напряженного ожидания глобального военного конфликта превращалась в воспроизводимый на протяжении двух поколений способ существования, в котором верность убеждениям почти всегда была неразрывно связана со страхом и чувством бессилия перед судьбой. Появление ядерного сверхоружия оказывало беспрецедентно разрушающее воздействие на общества по обе стороны невидимого фронта, а сила личности отныне измерялась лишь способностью принять выбор, уже сделанный за нее. Это постоянное пребывание в зоне риска парадоксальным образом оказалось одним из наиболее устойчивых состояний в новейшей истории, память о котором у многих постоянно вызывала подсознательную ностальгию.

Возвращение призрака Холодной войны в наши дни ободрило не только дипломатов, генералов или пропагандистов старой школы, получивших долгожданное ощущение твердой почвы под ногами. Ситуация навязанного выбора между двумя «лагерями» очевидно завораживает и тех, кто привык относить себя к внимательным критикам любых идеологи-

ческих конструкций. Оказалось, что отождествление себя с одной из сторон конфликта способно решить проблему кризиса идентичности, от которой так страдали интеллектуалы последние двадцать лет. И сейчас, при первых недо-стоверных признаках новой-старой Холодной войны, они уже готовы занимать позиции и придавать ясность линиям конфликта даже там, где эти линии еще не обрели закончен-ных очертаний. Если первая Холодная война началась с во-енных и политических решений, уже затем оформленных на уровне идеологии (Хиросима предшествовала Фултонской речи), то в ее нынешнем ностальгическом повторении про-изводство риторики очевидно обгоняет события.

Холодная война и советские интеллектуалы

Эта смена последовательности указывает на всю глубину перемен самой позиции интеллектуала, которые произошли в процессе первой Холодной войны — настоящей и давно за-вершенной. На рубеже 1940-50-х и на Западе, и в СССР, при всех колоссальных различиях, начинается процесс превра-щения интеллигенции из группы, способной просто выпол-нять идеологический заказ, в группу, готовую его самостоя-тельно формулировать, уточнять и воспроизводить.

В Советском Союзе на протяжении 1930-х политика бес-конечных международных зигзагов, каждый изгиб которых сопровождался репрессиями, постепенно создала цинич-ный и постоянно живущий в страхе тип идеолога, готового по первому сигналу страстно защищать позиции, которые он еще вчера подвергал осуждению. Достаточно проследить, как в риторике сталинского Коминтерна менялась оценка фашизма на протяжении практически одного десятилетия: из незначительной помехи на пути к глобальному револю-ционному кризису (с 1928 по 1934-1935) он превратился в главную угрозу демократии и прогрессу (по 1939), затем на короткое время (после пакта Молотова-Риббентропа) пол-ностью пропал из пропагандистского дискурса, чтобы затем

вернуться в качестве главного врага с момента нападения Германии на СССР.

Зигзаги внешней политики запустили безостановочный механизм селекции, в результате которого выжили и сохранили позиции лишь идеологические *minutemen*, в любой момент готовые к самым неожиданным переменам. Перманентная дезориентация и неустойчивость породили новый тип пропагандистов, научившихся не верить никому — и в первую очередь самим себе.

С началом Холодной войны имперский и шовинистический поворот советской внутренней политики в конце 1940-х, напротив, создал ориентиры, в своей основе сохранившиеся на протяжении всего послевоенного периода советской истории. Постоянно чреватое глобальным военным конфликтом сосуществование двух мировых систем стало реальностью, на десятилетия определившей сознание советской интеллигенции. Сменявшие друг друга моменты обострений и «разрядок» оставались не более чем различными признаками этой реальности, не подверженной принципиальным изменениям. Границы, заданные внешнеполитическим противостоянием, оказывались определяющими и в дебатах о перспективах научно-технической революции или «социализма с человеческим лицом» 1960-х, и в спорах диссидентов о балансе национальных или универсально-гуманистических ценностей в 1970-х — неизменным и решающим фоном оказывалась линия противостояния Холодной войны.

Невозможность «третьей позиции» — политического или культурного самоопределения, ускользающего из жесткой бинарной структуры конфликта Востока и Запада — была самоочевидной и не нуждалась в специальных подтверждениях сверху. Таким образом, любая форма оппозиции «реальному социализму» оказывалась тождественной сознательному выбору альтернативы, предлагаемой противоположной стороной — Западом.

В последние два десятилетия существования СССР, когда официальный «марксизм-ленинизм» был безнадежно дискредитирован, его фактической заменой в качестве идеологии, способной организовывать общество и легитимировать власть, оставалась «революционно-имперская парадигма» [1] — идея противостояния с Западом, все более органично сочетавшаяся со страхом нарушить сложившийся хрупкий паритет мировых сил. Показательно, что существование этой «военной» стабильности хронологически полностью совпадает с абсолютным доминированием в руководстве страны поколения, чей политический подъем начался в конце 1940-х гг.

Провал горбачевской «перестройки» во многом был связан именно с резким пересмотром всей сложной конструкции внутри- и внешнеполитических отношений, выстроенной на протяжении предшествующих десятилетий Холодной войны. А последующий распад СССР, победа «демократических сил» и начало травматического транзита к свободному рынку не могли быть восприняты иначе, чем победа одного из военно-политических блоков.

Можно сказать, что главной интенцией Холодной войны, обращенной в общество, становится радикальное упрощение всего многообразия конфликтов до одного, главного конфликта, сводящего к себе любое противоречие. Такое упрощение на самом деле и есть основа глобальной идеологии Холодной войны, перешагнувшей условные линии фронта.

Универсальные права обретают родину

На другой стороне Холодная война не только сплотила элиты, обеспечила лояльность большинства и создала условия для гегемонии Соединенных Штатов в Западной Европе. Именно в это время левые становятся органичной частью системы, сама возможность продолжающейся критики которой изнутри превращается в источник силы и конкурент-

ное преимущество. Холодная война создает новый язык универсальных ценностей, сила каждой из которых зеркально отражает слабые места противника. Используя эти ценности — индивидуальную свободу, демократию и права человека — в качестве оружия, Запад, наконец, придает плоть, кровь и почву каждой из абстракций Просвещения.

Две мировые войны, предшествовавшие Холодной, обозначили проблему миллионов «людей без гражданства», чьи фундаментальные права не были обеспечены ни суверенностью конкретного государства, ни принадлежностью к конкретному национальному сообществу. Как писала Ханна Арендт, «права человека, предположительно неотчуждаемые, оказались нереализуемыми (даже в странах, чьи конституции были на них основаны) всякий раз, когда появлялись люди, которые больше не были гражданами ни одного суверенного государства... никто не осознавал, что человечество, столь долго воспринимавшееся в образе семьи народов, достигло стадии, на которой всякий, выброшенный из одного из этих... национальных сообществ, оказывался выброшенным и из семьи народов тоже» [2]. Таким образом, единственным субъектом, гарантировавшим права человека, оказывалось непредставленное, эфемерное «человечество», лишенное политического тела и суверенности. Для Арендт эта катастрофа человеческих прав представлялась одним из необходимых драматических слагаемых европейского тоталитаризма.

Практика Холодной войны предоставила, пожалуй, уникальный в истории пример того, как абстрактное «человечество» обрело голос и силу в лице совокупного «западного мира» и США как его флагмана. Так, кампания за свободу эмиграции советских евреев, высшей точкой которой стало принятие большинством Конгресса поправки Джексона-Вэника к американско-советскому торговому соглашению, обозначила защиту «прав» как безусловный политический приоритет. Советское правозащитное сообщество, оформившееся на рубеже 1960-70-х, проделало путь от этической

бесстрастной декларации «прав», которые должны торжествовать как принцип, к праву, весомость которого подтверждалась постоянной апелляцией к военно-политическому блоку, защищающему права.

Так же, как универсальное право наций на самоопределение с началом деколонизации в странах Третьего мира превратилось в оружие «социалистического лагеря», универсальные права человека оказались приватизированы «свободным миром». В то же время, главным приобретением «социалистического лагеря» в области универсальных прав оставалось право на восстание — которое, по иронии истории, никогда бы не стало универсальным без американской Декларации независимости. Каждое из прав, бывшее прежде нейтральным, нашло родину и беспрецедентную возможность исторической реализации — в обмен на собственную универсальность. В силу той же неумолимой логики Холодной войны борьба за права и свободу политических заключенных превратилась в подобие обмена военнопленными между двумя сторонами глобальной необъявленной войны.

Перемещение военных действий в область ценностей означало, что вопросы культуры теперь приобрели стратегическое значение. К середине 1950-х успех на этом фронте оказался на стороне Запада, который смог почти автоматически обращать в свою пользу любое проявление индивидуального творческого высказывания. И здесь кроется, пожалуй, самое серьезное завоевание Америкой и ее пропагандистским аппаратом универсальных смыслов в период Холодной войны: все, что претендовало на независимость, эскапизм или стремление занять позицию над схваткой, работало, в конечном счете, в пользу Запада.

Если для Советского союза поворот к Холодной войне стал спасением от начавшейся к концу правления Сталина эрозии господствующей идеологии, то в США он способствовал слиянию в эклектичную, но исключительно жизнеспособную коалицию политических и социальных групп, которые исто-

рически никогда не являлись союзниками. Консерваторы, христианские фундаменталисты, рузвельтовские либералы, т.н. «некоммунистические левые», выпускники «Лиги плюща» и выходцы из низов восточноевропейского происхождения — все силы полного противоречий общества, относительно недавно пережившего Великую депрессию, оказались частью единого фронта борьбы с коммунизмом [3]. Именно эта странная коалиция, создание которой было продиктовано внешнеполитической необходимостью и являлось результатом специальных усилий сверху (например, спецслужб или связанных с правительством think-tanks), создала эластичный язык, на котором до сих пор ведутся публичные дискуссии о внешней политике.

Триумфальное возвращение языка Холодной войны

Сегодня язык Холодной войны, как и стремление к простым линиям самоопределения не только не ушли в прошлое, но воспроизводятся интеллектуалами самостоятельно, при первых недостоверных намеках на возвращение к ситуации «войны миров». Как только этот сигнал был услышан, начался первый необходимый этап работы — обновление словаря универсальных понятий, который одновременно становился и словарем войны. Очевидно, что в качестве главного такого понятия сегодня выступает «Европа». Конечно, напряженная идеологическая работа по созданию «Европы» велась на протяжении практически всей истории Европейского союза как политического и экономического проекта элит. Однако за последние годы кризис этого проекта подорвал легитимность интеллектуальной деятельности, связанной с его исторической универсализацией.

Несмотря на то, что киевский Майдан за считанные недели эволюционировал от ограниченного движения в поддержку ассоциации с ЕС к полномасштабному политическому перевороту, в международном контексте его политическое значение с невиданной последовательно-

стью интерпретировалось как частный (но героический и достойный восхищения) случай борьбы за «европейские ценности». Так, уже в январе 2014 года, когда политические перспективы и контуры Майдана еще не были определены, группа интеллектуалов, включавшая Славоя Жижека и Карло Гинзбурга, опубликовала на страницах «Гардиан» коллективное обращение в его поддержку — как движения, способного вернуть проекту объединенной Европы утерянный смысл и достоинство [4].

Фигура «благородного дикаря», укорененная в традиции Просвещения, теперь возродилась в образе далекого украинца, освящающего своей кровью поблекшие европейские идеалы, забытые и отвергнутые его первоначальными носителями. Важно, что этот голос в поддержку «европейского выбора» звучал с левого фланга, который в критический момент обнаружил не меньшую страсть к знакомым схемам интерпретации событий, чем правые рыцари Холодной войны, которые также с огромным энтузиазмом извлекли из заржавевших ножен старое оружие пропаганды.

Для того, чтобы, опираясь на неисчерпаемые ресурсы исторического воображения, заново выстроить декорации «войны миров», совсем не нужно много времени. Можно утверждать, что к настоящему моменту эта работа практически завершена. В авангарде изобретателей идут правые, — от которых, впрочем, не отстаёт и часть левых.

В России «номером один» предсказуемо оказался Александр Дугин, еще двадцатилетие назад ставший пионером постсоветской версии «консервативной революции». Аннексия Крыма и события на востоке Украины для Дугина венчают «возвращение России в историю». В одном из своих программных текстов он описывает происходящее как финальное торжество правления Путина, через фигуру которого проходила борьба материального наследия геополитической капитуляции 1990-х и мистического «второго тела короля», утверждающего подлинный суверенитет и преодоление мертвящей гегемонии американской цивилизации [5].

Практически зеркальным ответом на дугинский «евразийский проект» оказывается подход либерально-консервативного историка Тимоти Снайдера, весной 2014 года выступившего в Киеве с лекцией «Украина и Европа». Для Снайдера неизбежное европейское будущее Украины полностью предопределено ее европейским прошлым. От основания государства викингами («типичная европейская история»), через Киевскую Русь и трансформацию ее наследия в Речи Посполитой, Украина постоянно подтверждала свою принадлежность к Европе. В каждом из поворотных моментов своей истории, Украина как бы подсознательно совершала выбор, самоочевидный для любой другой европейской страны. Так же, как на протяжении 2000-х новые члены ЕС из Восточной Европы, как бы пробуждаясь от сна, заново открывали свои европейские корни и подобно блудным детям, возвращались в лоно семьи, сегодня Украина осуществляет неизбежное возвращение к своему европейскому естеству.

На пути к этому возвращению в подлинную, плюралистичную и способную исцелять исторические раны Европу стоит Россия, которая представляет сегодня дистиллированный проект «анти-Европы». Снайдер утверждает, что путинское евразийство направлено «исключительно на то, чтобы сделать всю Европу похожей на Украину: одинокой, не имеющей понимающих друзей, раздробленной страной, напрашивающейся на вмешательство извне».

Между Европой и анти-Европой нет пространства для альтернативы — «национальное государство», по мнению Снайдера, является лишь вредной утопией, оставшейся в прошлом столетии, и остается лишь «евразийское будущее, в которое вы можете войти вместе, и... европейское будущее... Других вариантов нет» [6].

Обе этих конструкции сходятся в фатальности выбора и невозможности «третьей позиции», с какой стороны она бы ни исходила. Большой стиль Холодной войны опережает непосредственное вооруженное столкновение для того, чтобы утвердить саму логику боя в качестве постоянного состоя-

ния общества. Свойственная атмосфере Холодной войны постоянная гимнастика военной морали лишает права на сомнение интеллектуалов — то есть тех, для кого сомнение должно оставаться принципиальной составляющей их профессионального призвания и политической функции.

Впрочем, драматургия «столкновения цивилизаций», которую в очередной раз в трогательном единстве выстраивают Дугин и Снайдер, не вызывает удивления — так как представляет традиционный спорт правых. Каждое появление на горизонте внеисторического врага, противостоящего «нашей» культуре и ценностям, рассматривается как акт божественного провидения, способного вернуть морально ослабевшей и демобилизованной нации необходимые бодрость и единство. Достаточно вспомнить, что именно так десятилетие назад были восприняты частью американских консервативных комментаторов события 11 сентября.

Принуждение к выбору

Если для правых в логике Холодной войны обретается потерянный исторический оптимизм и достигается требуемое тождество нации и правительства, то для левых, наоборот, вопрос сужается от больших освободительных проектов до проблемы личного выбора. В отличие от правых, чье понимание истории неожиданно становится единственным легитимным способом описания реальности, взгляд левых на историю терпит сокрушительное поражение.

Никогда прежде, чем на пике Холодной войны рубежа 1940-1950-х, левые интеллектуалы не чувствовали себя более отчужденными от исторического процесса, движущие силы которого полностью теряют человеческие очертания [7].

Артур Кестлер, так же завершивший на рубеже этого десятилетия свой причудливый дрейф от сталинского Коминтерна к фанатичному антикоммунизму, теперь предсказывал скорый конец цивилизации в результате победы СССР.

В своем романе «Призрак грядущего» (1951) он рисует апокалиптический образ Парижа накануне неизбежной ядерной войны и вторжения советских орд. Однако главная причина конца Запада, для Кестлера, заключается в принципиальной готовности к капитуляции абсолютного большинства интеллектуалов, зомбированных сталинизмом. Один из героев, известный советский писатель, прибывший в столицу Франции в качестве почетного делегата очередного «конгресса в защиту мира», — этого «шабаша ведьм», полностью срежиссированного из Москвы, — принимает решение не возвращаться на родину. Он бежит из царства несвободы, чтобы снова обрести себя и наконец познать подлинный смысл творчества — но трагедия в том, что ему уже некуда бежать [8].

Кестлер становится одним из ярких представителей «некоммунистических левых» — деятельной сети интеллектуалов, для которых самым последовательным шагом на пути отвержения сталинизма стало сотрудничество с ЦРУ. Вместе с другими бывшими коммунистами он выступает в качестве одного из авторов сборника «God That Failed», вышедшего в 1949 году при активной поддержке американских спецслужб (тогда же выходит и роман другого разочаровавшегося левого — «1984» Оруэлла) [9]. Кестлер и его соавторы атакуют коммунизм не через противопоставление ему другого большого социально-политического проекта, — но определяют себя в качестве защитников самого права на выбор, растоптанного сталинизмом. Согласно «некоммунистическим левым», на руинах массовых освободительных движений их бывшим участникам не остается ничего другого, как бороться за то, чтобы остаться самими собой, сохраняя возможность критики и несогласия. Однако опереться в этой борьбе можно лишь на один из двух лагерей, разделивших между собой послевоенный мир.

Парижский собеседник Кестлера в 1940-е, Жан-Поль Сартр испытал похожие переживания, но сделал прямо противоположный выбор. Результатом его поиска независимой

и антиавторитарной позиции к началу 1950-х годов становится решение о поддержке коммунистов. Оглядываясь много позже на основания своей тогдашней позиции, Сартр описывает, как из положения бессильного, но морально безупречного «милого чистого маленького атома» его выталкивает сначала опыт немецкой оккупации и антифашистского Сопротивления, а затем — политическое противостояние между лагерями, разделившее не только партии в поле национальной политики, но и практически любое, даже самое малое и связанное личной дружбой сообщество. Программный индивидуализм Сартра, его подозрение к любым типам политической репрезентации являлись причиной устойчивого недоверия к нему со стороны французских коммунистов. Однако, парадоксальным образом, политическое выражение индивидуальности Сартра могло в полной мере осуществиться лишь на основе союза с пугающими коллективистскими монолитами, подобными Французской компартии.

«В это время я раздумывал, что буду делать в случае конфликта между Америкой и Советами. ...Для меня Компартия казалась представляющей пролетариат. Казалось невозможным быть не на стороне пролетариата. Так или иначе, недавняя история RDR (независимой французской левой группы, часть которой в результате пошла на сотрудничество с интеллектуалами, связанными с ЦРУ — прим. ИБ) преподала мне урок. Микроорганизм, который вознамерился сыграть посредническую роль, был быстро раздавлен между двумя группами... Перед угрозой войны... мне казалось, что есть только один выбор: или США, или СССР. Я выбрал СССР» [10].

Возвращение Холодной войны?

Эта травма выбора между враждующими лагерями оказалась не преодолена и до сегодняшнего дня. Она снова напоминает о себе в изменившихся обстоятельствах, и теперь больше похожа на фарс, чем на трагедию. В отличие от событий настоящей Холодной войны полувековой

давности авторов агрессивных колонок, обличающих «полезных идиотов Путина» или поклонников «нацистского Майдана», никто не принуждает к выбору. Но, повинуясь чудовищной инерции, они готовы совершать этот ложный выбор сами. Интеллектуалы стали одной из жертв Холодной войны двадцатого века, приучившей их к осознанию собственного бессилия и поставившей знак тождества между верностью самому себе и верностью одной из воюющих сторон. Происходящее сегодня бесконечно далеко от содержания оставшегося в прошлом противостояния СССР и Запада. Однако те, кто привык отвечать за производство идеологических форм чувствуют себя комфортно только возвращаясь к старым, давно выученным ролям.

Прошлая Холодная война подарила нам, вероятно, самые вопиющие по цинизму и искусству манипуляции примеры *realpolitik* (одним из главных виртуозов которой, как мы знаем, был сам Сталин). Однако травмированные интеллектуалы, вместо беспощадной критики этого цинизма, отравлявшего мир с обеих сторон, сделали слишком много, чтобы оправдать его всей силой своей искренности и страсти. И если Холодная война и вправду возвращается, возможно, у нас появляется шанс не сыграть подобную роль снова.

июль 2014 г.

Может показаться, что наступающее столетие революции застаёт Россию в самый неподходящий момент. Колоссальный масштаб и универсалистская амбиция этого события фатально не соответствует сегодняшнему состоянию общества, погруженного в апатию. 2017-й, вероятно, станет еще одним годом нарастающего кризиса. И чем уверенней российский постсоветский капитализм движется в этом направлении, тем более агрессивно его пропагандистский аппарат продолжает воспроизводить фигуру «вечного настоящего», представление самого себя в качестве синтеза всей предшествующей национальной истории.

«Вечное настоящее»: русская версия

Активная кремлевская историческая политика (подменяющая отсутствие действительной политической жизни) основана на идее борьбы за наследие, которое постоянно атакуется внешними конкурентами и внутренними врагами. Это искусственно создаваемая версия национальной истории как «пустого», мифологического времени, в котором все повторяется, а действия людей лишены самостоятельности. Существует лишь история предков — правителей и их верных поданных. Это воспроизводимая в каждом их подвиге или преступлении Россия, которая требует только верности самой себе. Такого рода верность способна оправдать любой поступок и не оставляет места для выбора.

В подобной схеме 1917 год не содержит ничего принципиально нового и сводится к уже известному паттерну: здесь так же есть козни соседних стран, нравственные силы внутреннего сопротивления, подвергаемое опасности тысячелетнее государство. Из этого сочетания может и должен быть извлечен подлинный духовный «смысл» революционной коллизии, недоступный самим участникам событий, но известный каждому нынешнему сотруднику Министерства

культуры. Постигание этого смысла важно не только как часть наследия, но и в качестве практической инструкции по предотвращению революционных эксцессов в будущем. Революция — легитимная часть нашей истории, которая не должна никогда повториться. Такова практическая истина, которую правительство рекомендует усвоить в новом, 2017 году. Именно в этом заключается «объективная оценка» русской революции, к которой призывал российское общество в своем послании в декабре 2016 года Владимир Путин [1].

Подобное стремление к «объективной оценке» соответствует самой универсальной функции идеологии, направленной на оправдание существующего положения вещей как единственно возможного. Идеология неподвижна, лишена своей собственной истории — так как само ее значение состоит в том, чтобы намертво зафиксировать ту точку «здесь и сейчас», из которой эта «объективная оценка» становится возможной.

Если для кремлевского официоза факт революции преодолевается через полноту настоящего, утверждающего историческую преемственность, то для оппозиционно-либеральных интеллектуалов, наоборот, призрак коммунизма остается проклятием неполноты современности. Согласно антикоммунистическому нарративу, распространенному среди значительной части интеллигенции, Россия не может избавиться от своего преступного прошлого, став «нормальной страной» — т.е. разделив принципы идеологического консенсуса глобального капитализма. Изгнание призрака предполагается совершить через радикальное очищение — как на символическом уровне (т.н. «декоммунизацию» по модели других пост-социалистических стран), так и посредством морального «покаяния», коллективного признания ответственности за грехи прошлых поколений.

Сегодня, сто лет спустя, оба присутствующих в российском публичном пространстве подхода к революции — официально-консервативный и либерально-антикоммунистический — выглядят как два типа фарса. Официальная

формула «исторической России» заменяет фальшивым спектаклем «национального примирения» подлинную драму революции, победа которой в итоге обернулась воссозданием репрессивного государства. В свою очередь, призывы к покаянию и «декоммунизации» выглядят как фарс моральной чистоты. Если власти предлагают строить новые фальшивые памятники, то ее оппоненты — демонтировать фальшивые старые. В этом виде предполагаемое очищение от фальши и двусмысленности прошлого — не более, чем двусмысленная попытка придать настоящему качество подлинности.

Так в чем же состоит это наследие? Как можно описать и принять весь объем его внутренних противоречий, плоский, неисторический подход к которым легко может привести к простому поглощению одной из двух господствующих ныне идеологических позиций?

Революция против обстоятельств

Ход событий 1917 года стал вызовом не только старому миру, но и социал-демократическому движению в его прежнем виде, — движению, которое осознавало себя как инструмент реализации исторических законов. С момента создания II Интернационала, провозгласившего марксизм своей официальной доктриной, социал-демократы опирались на ясную прогрессистскую телеологию, в которой социалистический характер революции определяется необходимыми и неизбежными предпосылками. Общественный переворот должен быть подготовлен объективными обстоятельствами и стать разрешением противоречий, которые содержит в себе капиталистический способ производства.

Таким образом, революция, как неизбежность, прямо противоположна любому волюнтаристскому индивидуальному порыву или случайности, внешней по отношению к главному противоречию эпохи (т.е. классовому антагонизму рабочих и капиталистов). Из такого представления об

истории был полностью изгнан момент непредсказуемости (своего рода макиавеллиевской fortuna), которая создавала пространство для политического выбора. Вся последовательность революционного процесса 1917 года, от стихийного петроградского восстания в феврале до большевистского переворота в октябре, помимо сочетания «объективно» данных факторов — бедности, деспотизма, изматывающей мировой войны — включала еще один, переменный: отчаяние и решительность масс так же, как и радикальную наступательную стратегию партии большевиков. Стратегии, в которой содержалось нечто большее, чем трезвый анализ ситуации и чистая страсть к обладанию политической властью.

В этом смысле русская революция была прямым отрицанием всей предшествующей традиции марксистской политики — она стала революцией в неожиданном месте и с неожиданным результатом. Этот момент «вопреки» сопровождает всю историю 1917 года, породив надежду и удивление у европейских радикальных диссидентов внутри социал-демократии. Так, в апреле Роза Люксембург восторженно пишет о том, что революция происходит «несмотря на предательство, всеобщий упадок рабочих масс, дезинтеграцию Социалистического Интернационала» [2].

Полгода спустя в таком качестве приветствует октябрьский переворот в России Антонио Грамши, называя его «революцией против «Капитала» [3]. Для Грамши Россия стала местом, где «события победили идеологию», а большевики сделали выбор в пользу событий. Уникальное сложение этих событий, предшествовавших перевороту, отвергло абсолютный детерминизм «законов исторического материализма», дав возможность массам, освободившимся от диктата обстоятельств, самим делать свою историю. «Голодная смерть могла настичь каждого, поразить десятки миллионов одновременно... множество волей оказались сначала объединены этой общей причиной, чтобы затем обрести активное и духовное единство». Этот освободительный акт, согласно Грамши, означал и начало эмансипации самого марксизма,

прежде «коррупцированного пустотой позитивизма и натурализма» [4]. Грамши завершал свой текст открытым призывом вернуться к истокам марксистской мысли, лежащим в «идеалистической немецкой философии».

Можно сказать, что в этом практическом возвращении к классической немецкой философии революционеры 1917-го обратились не только к Гегелю, но и к Канту. Освободившись от «диктатуры обстоятельств» и отказавшись принимать их как чистое и неоспоримое выражение разума истории, большевики сделали моральный вопрос центральным и для судьбы русской революции, и для всей драматической истории социалистических движений XX столетия.

Несмотря на то, что главной действующей силой на протяжении 1917-го были именно сознательные рабочие, организованные в Советы [5], цели революции и социалистический характер были результатом морально-политического решения большевиков. Так же, как русская революция не была определена простым сложением кризисных обстоятельств, задача перехода к социализму сама по себе не выростала из динамики классовой борьбы. Напротив, она была неким новым, автономным обстоятельством, подлинным моментом кантианской «практики» — морального действия, опирающегося лишь на внутреннее убеждение в верности собственного решения. Ленинская партия приняла на себя этот моральный груз — перехода к социализму в стране, по всем определениям не готовой к такому переходу.

Тяжесть этого выбора будет проявляться на всем протяжении советской истории, моральная ответственность за все события которой, безусловно, восходит к решению большевиков о взятии власти в октябре 1917 года. Более того, вопрос о такой ответственности легитимен лишь постольку, поскольку большевики сами полностью ее осознавали. Выбор сторонников Ленина изначально был основан на трагическом принятии рисков, которые несет в себе противоречие цели и средств, содержавшееся в решении о захвате государственной власти.

Наиболее точно и глубоко это противоречие было выражено Георгом Лукачем еще в 1918 году, на заре советской истории. Для Лукача [6] цель этой революции определяется не ей самой, но находится за пределами ее конкретного социального содержания. Это путь от «великого беспорядка» капитализма, отчуждения, расщепленности человеческой жизни к всеобщему благу. Такая цель является универсальной, всемирной и трансцендентной по отношению к обстоятельствам конкретно-исторической ситуации революции в России. Как писал Лукач, «конечная цель социализма является утопической в том же самом смысле, в каком он выходит за экономические, правовые и социальные рамки сегодняшнего общества и может быть осуществлен только посредством уничтожения этого общества» [7].

Но если общее благо как недостижимая, высшая цель всегда выносилась за пределы оснований для морального выбора (по Канту нравственность средств определяется безразличием к цели), то большевистский переворот возвратил проблему справедливого общества в качестве неотъемлемой части морального вопроса. Конечная цель сознательного, бросившего вызов обстоятельствам, действия большевиков была связана с материализацией представления об общем благе, которое из возвышенного, постоянно ускользающего идеала должно стать достижимой действительностью, «реальной утопией» [8].

Лукач формулирует эту альтернативу примерно так: или оставаться «хорошими людьми», автономными в своей нравственности по отношению к безнравственным, несправедливым обстоятельствам, и ждать, пока умозрительное общее благо станет действительной «волей всех», либо, захватив власть, навязать этим неразумным обстоятельствам свою волю. Инструментом этой воли к общему благу неизбежно становится государство, исторически созданное для прямо противоположной цели. Нравственная проблема из индивидуальной, таким образом, превращается в субстанциальную. Государство признается злом, в котором, тем не

менее, есть необходимость. Использовать государство, предназначенное для утверждения неравенства и несправедливости, для торжества равенства и справедливости — значит сознательно пойти на разрушение собственной моральной целостности, осознанно пытаться изгнать, по выражению Лукача, «Сатану руками Вельзевула» [9].

Фактически Лукач объясняет в терминах моральной философии противоречие рабочего государства, которое в терминах марксистской теории было сформулировано Лениным в «Государстве и революции». Этот текст лидера большевиков был написан в августе 1917 года, накануне взятия власти. Ленин полагал, что государство, которым предстоит овладеть революционерам, уже не будет продолжением государства старого типа — то есть инструментом господства одного класса над остальными.

Напротив, ленинская «диктатура пролетариата» — «отмирающее государство», государство с антигосударственной задачей, диктатура ради конца любых диктатур. Это сила, которую позже Вальтер Беньямин определит как «божественное насилие» — то есть насилие, снимающее условия для воспроизводства насилия как такового [10]. Для Ленина задача нового пролетарского государства заключалась в том, чтобы доказать собственную ненужность победившему классу, подлинный классовый интерес которого заключается в том, чтобы растворить и свое господство, и самого себя в сознательном «организованном обществе». Задача большевиков — не укрепить перешедший к ним от прежних господ государственный аппарат, но «сломать, разбить» его [11]. Следуя ленинской мысли, такое государство не должно пытаться представить себя нравственной силой, воспитателем масс, но напротив — должно убедить эти массы в том, что они больше не нуждаются в воспитателях.

Однако, принимая ответственность за создание такого невиданного прежде в истории негативного, само-отрицающего государства, марксисты осознают огромную опасность, которую оно в себе содержит. Превратившись в управляю-

щих пролетарским государством, революционеры должны продолжать осознавать его как зло (пусть и неизбежное в короткий переходный период). Ведь в тот момент, когда это государство поверит самому себе и начнет всерьез исполнять роль учителя морали для пока несознательного народа, смысл его существования радикально изменится. Такое государство, осознавшее себя как добро, не только не «исчезнет», но и поглотит общество, превратившись в тотальный аппарат подавления, использующий аргумент общего блага как обоснование своей монополии на насилие.

Эти выводы, прямо следующие из рассуждений Ленина и Лукача, содержат не только пророчество сталинской диктатуры, но самое главное — основаны на осознании ответственности за саму ее возможность. Таким образом, большевистский переворот не был следствием давно знакомого, не осмысляющего себя политического инстинкта захвата власти, выпавшей из рук прежнего правительства (как часто это объясняют банальные антикоммунисты). Напротив, это был моральный выбор, противопоставивший себя прежним законам власти и политики. Выбор, в который было заложено понимание и собственного невысокого шанса на успех.

Сталинизм, — эта, пользуясь терминами Грамши [12], победа «этического государства» над стремлением к «упорядоченному обществу», — стал главным свидетельством его практической неудачи. Однако даже в самых жестоких условиях тоталитарной диктатуры моральное начало большевизма, его воля к борьбе с подавляющими обстоятельствами, оставалась обратной стороной реальности революции, потерпевшей поражение. Его можно увидеть и в трагической борьбе антисталинскойлевой оппозиции 1920–30 гг., и в осмыслении опыта ГУЛАГа такими писателями, как Варлам Шаламов. Сам Георг Лукач, прошедший через испытания и преследования, через сорок лет после «Большевизма как моральной проблемы», писал об «Одном дне Ивана Денисовича» Солженицына как о лучшем примере подлинного «социалистического реализма» — так как истинным вопросом

реальности «реального социализма» остается моральный вопрос [13].

Но главным текстом советской эпохи, ключом к тайне ее происхождения, нужно считать именно ленинскую «Государство и революция». Она оставалась своего рода гамлетовским «призраком отца», нависавшим над советским государством на протяжении всей его истории. Упакованная в канон официальной идеологии, эта книга постоянно напоминала о ее условности, содержательно снова и снова ставя под вопрос само право государственной бюрократии на власть. Не случайно на рубеже 1950-60-х гг. многие молодежные диссидентские группы зародились из совместного внимательного прочтения этого ленинского текста [14].

Эта двойственность большевизма — как нравственного выбора и действительного исторического опыта, как сознательной практики и подавляющей силы обстоятельств — составляет его наследие в принципиально неразделенном виде. Неразрешимое противоречие морали — вопрос о правильном действии индивида в неправильной, искаженной реальности — нашло в историческом большевизме попытку ответа. Попытку пусть не окончательную и потерпевшую поражение, но, возможно, пока единственную настолько серьезную и масштабную в новейшей истории.

Порядок в беспорядке

Если негативность наследия революции, его способность ставить под вопрос любые завершенные фигуры идеологии, сегодня осталась без видимых наследников, то наследие в качестве завершенной и перевернутой страницы национальной истории исчерпывающе выражено в актуальной государственной политике. Так, в этом году нас ждет открытие памятника «примирения в Гражданской войне». Место, где он появится — «воссоединенный» в 2014 году Крымский полуостров. По словам министра культуры Владимира Мединского, будущий памятник — “зримый и мощный символ,

установленный там, где закончилась Гражданская война, станет лучшим доказательством того, что она действительно закончена” [15].

Однако настоящим результатом уже давно свершившегося примирения революции и ее противников явилось само российское государство. Это была “третья сила, которая в этой войне не участвовала” — “историческая Россия, которая возродилась из пепла”. Согласно Мединскому, большевики, вопреки собственным антигосударственным установкам, «были вынуждены заниматься восстановлением разрушенных институтов государства, борьбой с региональным сепаратизмом. Благодаря их тяге к государственному устройству на их стороне оказалось больше сильных личностей, чем на стороне белых. Единое Российское государство стало называться СССР и осталось почти в тех же границах. А спустя 30 лет после гибели Российской империи совершенно неожиданно Россия оказалась на вершине своего военного триумфа в 1945 году” [16].

Это заявление воспроизводит, пожалуй, главный консервативный тезис о революции, впервые прозвучавший более 200 лет назад — о несоответствии самосознания революции ее действительному значению. Консервативные мыслители были убеждены в способности увидеть скрытое от непосредственных акторов революции ее подлинное содержание, определяемое божественным Провидением, метафизической национальной судьбой или исторической необходимостью. Эта способность, по выражению Жозефа Де Местра, «восхититься порядком в беспорядке», помогала разглядеть в каждой победившей революции ее неотвратимое самоотрицание.

Де Местр с удовлетворением писал: «Все чудовища, порожденные Революцией, трудились, по-видимому, только ради королевской власти. Благодаря им блеск побед заставил весь мир прийти в восхищение и окружил имя Франции славой, которую не могли целиком затмить преступления революции; благодаря им Король вновь взойдет на трон во

всем блеске своей власти и, быть может, даже более могущественным, чем прежде» [17]. Если де Местр относил «порядок беспорядка» к пока неявленному божьему промыслу, то Алексис де Токвиль находил его в воспроизводстве революцией тех форм организации, против которых она, казалось бы, была направлена. Французская революция «породила новую власть, точнее, эта последняя как бы сама собою вышла из руин, нагроможденных Революцией» [18]. Согласно Токвилю, убрав все отжившее, революция завершила дело создания централизованного бюрократического государства, начатое абсолютизмом Бурбонов.

Следуя этой логике Токвиля, можно сказать, что существующая сегодня французская республика через преемственность и развитие государственных форм в равной степени наследует и Старому порядку, и свергнувшей его революции. Пропасть между ними является не более, чем элементом революционной мифологии, разделяющей нацию. Это квазирелигиозная, милленаристская вера в способность людей своим сознательным усилием отвергнуть старый греховный мир и воплотить живущее по совсем иным законам Царство Божие на земле. Нация, расколотая революцией, может осознать свою общую продолжающуюся историю и преодолеть внутреннее разделение лишь тогда, когда сообщи похоронит разрушительную революционную религию. В этом духе накануне 200-летнего юбилея последователь Токвиля, историк Франсуа Фюре призвал к завершению Французской революции через прощание с порожденными ей иллюзиями. История революции не завершена, пока живет созданная ей политическая традиция, основанная на мифе [19].

Вполне в соответствии с этим консервативным подходом, в сегодняшней России ментальное завершение Гражданской войны и революции возможно через полный отказ от иллюзий, двигавших их участниками. Отвержение революционной амбиции создания нового мира способно открыть нам подлинный смысл событий столетней давности, разглядеть

невидимых за туманом самосознания эпохи контуры вечно-го государственного организма.

На пути к «исторической России»

Тезис Мединского о «третьей стороне» революционной коллизии — «исторической России» — победа которой в результате воплотилась через советское постреволюционное государство — сегодня, пусть и в бюрократически-вульгарном, упрощенном виде, наследует представлениям течения «сменовеховцев» 1920 гг. Его идеологи — такие, как Николай Устрялов и Юрий Ключников, — также видели в Советской России продолжение и развитие тысячелетнего русского государства, логика которого оказалась глубже и сильнее интернационалистической перспективы большевиков.

В статье «В Каноссу», опубликованной в программном сборнике «Смена вех» (вышедшем в Праге в 1921 г.), один из его авторов, Сергей Чахотин писал: «история заставила русскую «коммунистическую» республику, вопреки ее официальной догме, взять на себя национальное дело собиранья распавшейся было России, а вместе с тем восстановление и увеличение русского международного удельного веса» [20]. Более того, по мнению «сменовеховцев», сама победа революции осуществила внутреннюю необходимость русской истории, преодолев «пропасть между народом и властью». Ее высокой трагической ценой, по мнению Устрялова, «оплачивается оздоровление государственного организма, излечение его от длительной, хронической хвори, сведшей в могилу петербургский период нашей истории» [21].

Сквозь зигзаги политики большевиков, обусловленные противоречием между коммунистической идеологией и реальностью, Устрялов увидел торжество «разума государства», проявляемого по ту сторону права. Фактически приближаясь к известному понятию «чрезвычайного положения», сформулированному Карлом Шмиттом, Устрялов

рассматривал русскую революцию как своего рода триумф духа государства через попрание его буквы [22].

В каждом шаге, который большевики старались рассматривать как вынужденный — ограниченном признании рынка через НЭП или временном отказе от мировой революции во имя «социализма в одной стране» — «сменовеховцы» видели закономерность и неизбежность. «Ленин, конечно, остается самим собою, идя на все эти уступки, — писал Устрялов. — Но, вместе с тем, несомненно, «эволюционирует», т. е. по тактическим соображениям совершает шаги, которые неизбежно совершила бы власть, враждебная большевизму. Чтобы спасти советы, Москва жертвует коммунизмом» [23].

Большевики, взяв бремя государственной власти и рассматривая ее как опасный с моральной точки зрения инструмент (используя «Сатану против Вельзевула», по выражению Лукача), стали превращаться в его агента. Их революционная практика, предпринятая извне государства, пыталась подчинить его задачам антигосударственного и освободительного морального порядка. Но диктатура пролетариата постепенно свелась к качеству диктатуры бюрократии над пролетариатом. Под воздействием обстоятельств средство одержало победу над целью. Можно сказать, что революционное кантианство (действие вопреки обстоятельствам) большевиков проиграло консервативному гегельянству, представленному сменовеховцами (то есть новые революционные власти подчинились духу национального государства вопреки своим произвольным намерениям).

Возрождение России, согласно «сменовеховцам», требовало участия лучших сил патриотической интеллигенции, оказавшихся в эмиграции после окончания Гражданской войны. Способность большевиков принять эту протянутую руку было частью морального вопроса, поставленного событием 1917-го: можно ли привлечь к управлению государством тех, кто стремится его укрепить, а не разрушить?

В специальной резолюции, принятой на XII конференции РКП(б) (август 1922 года), утверждалось, что «так называемое сменовеховское течение до сих пор играло и еще может играть объективно-прогрессивную роль. Оно ... сплачивает те группы эмиграции, которые «примирились» с Советской властью и готовы работать с ней для возрождения страны» [24].

Важно, что «сменовеховцы» не капитулировали, признавая историческую правоту новой власти, а, напротив, открыто говорили о том, что она сама вынужденно капитулирует перед своими собственными принципами. Они были не просто попутчиками, но носителями иных убеждений, воплощенной «правдой классового врага», необходимой для оценки собственных сил в поворотный исторический момент. Это был тест революции на верность самой себе.

Анатолий Луначарский характеризовал «сменовеховцев» как людей «из более или менее правого лагеря, т.е. отнюдь не зараженных нелепыми демократическими предрассудками», которые «поднялись даже в эпоху своей контрреволюционной работы до настоящей широты общественной и государственной мысли». Они увидели, что большевики «не только не растранижирили Россию, но и за совершенно ничтожными исключениями объединили территорию бывшей империи в виде свободного союза народов». Делая этот политический реверанс, Луначарский, конечно, оговаривался, что надежды этой части правой интеллигенции на перерождение советского режима напрасны. Тем не менее, он от имени большевиков декларировал готовность принять вызов этого «настоящего, подлинного буржуазного патриотизма», представлявшего «остаток жизненной силы индивидуалистических групп и классов» [25].

В такой открытости перед вызовом «сменовеховства» было нечто большее, чем инструментальный политический расчет. Это было ясное сознание большевиками возможности своего Термидора, победы обстоятельств над принципами, политики над моралью. Герои русской революции,

пытаясь предсказать судьбу, часто примеряли на себя одежды французской революции. Более того, 1917-й год осуществлялся, исходя из знания о трагедии 1794-го, — знании о расколе между «данним и сущим», между представлением революции о ее нравственной цели и действительным трагическим поражением.

Непрозрачность наследия

Возможность появления Сталина — пролетарского Бонапарта, как самоотрицания революции и возрождения старого тиранического государства в новой, подавляющей своей тотальностью форме, — была частью осознанного морального решения большевиков в момент, когда они решили овладеть государственной властью.

Именно в этом, по большому счету, состоит сложность наследия Русской революции, лишенного видимых наследников. Его значение — не в том, чтобы поднять выпавшее знамя, обозначив простой тип политической преемственности. Жак Деррида писал когда-то о марксистской традиции: «Если бы смысл наследия представлял собой некую данность, нечто естественное, прозрачное и однозначное, если бы он не требовал интерпретации и не разрушал ее в одно и то же время, то наследовать было бы нечего. С наследием нас связывала бы тогда причинно-следственная связь естественного или генетического типа. Между тем, мы всегда наследуем некоторую тайну — говорящую нам: «прочти меня, если сможешь, а сможешь ли вообще?» [26].

Вопрос о наследии русской революции составляет тайну силы события, которое не может быть очищено от истории своего последующего перерождения и предательства. Но именно в самой невозможности такого очищения состоит чистота его моральной силы, способность к действию, предполагающему свой ничтожный шанс на удачу.

Примечания

Вечная охота на Красного человека

[1] Нобелевская речь Светланы Алексиевич, <http://www.colta.ru/articles/literature/9487>

[2] Светлана Алексиевич, «Время секунд-хэнд. Конец красного человека». <http://magazines.russ.ru/druzhba/2013/8/2a.html>

[3] Интервью Светланы Алексиевич, <http://news.tut.by/society/475829.html>

[4]Интервью Владимира Сорокина, <http://www.kommersant.ru/doc/2786007.17>

[5] Интервью Владимира Сорокина, «Радио Польша», <http://radiopolsha.pl/6/249/Artykul/211307>.

[6] Лев Гудков, Борис Дубин, Наталья Зоркая. Постсоветский человек и гражданское общество. М.: Московская школа политических исследований, 2008. С. 8-11.

[7] Этот ход хорошо проанализирован в известной книге Шейлы Фитцпатрик «Срывайте маски. Идентичность и самозванство в России». М.: Росспен, 2011.

[8] Луи Альтюссер, «За Маркса». М.: Праксис. С. 168.

[9] Юрген Хабермас, «Историческое сознание и посттрадиционная идентичность», в кн.: Ю. Хабермас. Политические работы. М., Праксис, 2005.

[10] Альтюссер, Там же. С. 169.

Интеллигенция как стиль

[1] О понятии «имитационной демократии» см.: Фурман Д. Движение по спирали. Политическая система России в ряду других систем. М.: Весь мир, 2010.

[2] Быть христианином по правде. Беседа с Ольгой Седаковой, <http://russ.ru/Mirovaya-rovostka/Byt-hristianinom-po-pravde>

[3] Манхейм Карл. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994.С. 574.

[4] Там же. С. 588.

[5] Там же. С. 622.

[6] Там же. С. 624.

[7] Грамши А. Тюремные тетради. В 3-х ч. Ч. 1. М.: Политиздат, 1991. С. 327.

[8] Интересно, что действительный социальный коллапс советской интеллигенции в начале 1990-х породил серьезные художественные рефлексии, связанные с переживанием «конца интеллигенции». Предшествующему поколению художников-концептуалистов, чья практика во многом была отражением полного противоречий способа отношений советского интеллигента с реальностью, противопоставляет новое поколение «московских акционистов». Их агрессивные интервенции, стирающие грань между публичным и частным, по мнению Виктора Мизиано, были одновременно и экспрессией травмы «пост-интеллигента», и своеобразным возвращением к фигуре русского дореволюционного интеллигента-нигилиста. Подробнее в Russian Reality. The end of intelligentsia/ Flash Art, Summer 1996, pp. 4-7.

[9] Иванов-Разумник Р. Что такое интеллигенция // Новикова Л., Сиземская И. (сост.). Интеллигенция — Власть — Народ. М.: Наука, 1992. С. 81.

[10] Бердяев Н. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М.: Правда, 1991.

[11] Троцкий Л. Об интеллигенции // Литература и революция. М.: Политиздат, 1991. С. 265—270.

[12] Постановление о перестройке литературно-художественных организаций // Артизов А., Наумов О. (сост.) Власть и художественная интеллигенция. Документы 1917—1953. М.: Международный фонд «Демократия», 2002.

[13] Вальтер Беньямин. Московский дневник. М.: AdMarginem, 1997. С. 78.

[14] Р. Медведев Книга о социалистической демократии. - Фонд Герцена: Амстердам-Париж, 1972. С. 63.

Диссиденты среди диссидентов

[1] Левин М. Советский век. М., 2008. С. 594.

[2] Подробнее об этом: Козлов В. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежнев. - Новосибирск, 1999.

[3] Жигулин А. Черные камни – М., 1989 – с.27

[4] Там же. С. 37

[5] Улановская Н. История одной семьи. – Спб., 2003 – с.212

[6] Там же. С. 270

[7] Алексеева Л. История инакомыслия в СССР: новейший период — 3-е изд., стер. М., Моск. Хельсинк. группа, 2012. С. 332.

[8] Подробная история группы Краснопевцева – в статье В. Сергеева «Университетское дело»: формирование оппозиционных взглядов группы Л. Краснопевцева - Л. Ренделя <http://mkonf.iran.ru/papers.php?id=69>, а также в книге О. Герасимовой «Оттепель», «заморозки» и студенты Московского университета. – М.: АИРО-XXI, 2015. С. 83-95.

[9] ГАРФ [22] Ф. Р-8131, Оп. 31, д. 79866

[10] Косинова Т. События 1956 г. в Польше глазами советских диссидентов. В кн.: Корни травы. Сборник статей молодых историков. М., 1996. С. 194.

[11] Корни травы. Сборник статей молодых историков. С. 195.

[12] Там же. С. 207.

[13] Там же. С. 210.

[14] Пирогов С. К истории послесталинских лагерей. Архангельск, 2001. С. 12.

[15] Например, Пирогов С. Из истории послесталинских лагерей. С. 13, Вайль Б. Особо опасный. Харьков, 2005. С. 197.

[16] Это подтверждается и архивными документами – характеристиками администрации Дубравлага на Л. Краснопевцева, Л. Ренделя и других членов группы - Ф. Р-8131, Оп. 31, д. 79866. [185] [186]

[17] Пирогов С. Указ. соч. С. 14.

[18] 58/10. Надзорные производства прокуратуры СССР. Март 1953-1991. М., 1999. С. 420.

[19] Митрохин Н. Анархо-синдикализм и Оттепель. Община, №50, 1997. С. 39.

[20] Поликовская Л. «Мы предчувствие... предтеча...». Площадь Маяковского 1958-1964. Звенья, М., 1997. С. 173

[21] Там же. С. 9.

[22] Поликовская Л. Указ соч. С. 44.

[23] Там же. С. 174.

[24] Поликовская, Указ.соч. С. 17.

[25] Митрохин Н. Анархо-синдикализм и Оттепель. С. 43.

[26] Поликовская Л. Указ. соч. С. 177.

[27] Подробнее об этом – в кн. Козлов В. Массовые беспорядки при Хрущеве и Брежневе.

[28] Поликовская Л. «Мы предчувствие, предтеча...». С. 177.

[29] Митрохин Н. Анархо-синдикализм и Оттепель. С. 45.

[30] Например, см. Осипов В. Три отношения к Родине в кн. Антология самиздата. т. 2. М., 2005. С. 369-375.

[31] Вайль Б. Особо опасный. Харьков, 2005. С. 82.

[32] Там же. С. 101.

[33] Вайль Б. Указ. Соч. С. 98.

[34] Пименов Р. Один политический процесс. Ч. I. Память, №2 М.- Париж., 1979. С. 177-180.

[35] Пименов Р. Там же.

[36] Вайль Б. Указ. соч. С. 98.

[37] Подробнее об этом: Вербловская И. К истории возникновения самиздата 50-х гг. в кн: Самиздат (по материалам конференции «30 лет независимой печати. 1950-1980 годы»). Спб., 1993. С. 32-34.

[38] Вайль Б. С. 113.

[39] Там же. С. 116.

[40] НА FSO Bremen, F. 185.

[41] Пименов Р. Один политический процесс. Ч. II. «Память», №3, М-Париж, 1980. С. 68.

[42] Молоствов М. Status quo. В кн.: Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии. Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 157.

[43] Молоствов М. Там же. С. 170.

[44] Еще об этом деле – Н. Солохин. Подснежники Оттепели. В кн: Самиздат. По материалам конференции «30 лет независимой печати. 1950-80-е годы», Санкт-Петербург, 25-27 апреля 1992г. НИЦ «Мемориал», Спб., 1993 г. С. 22-32; Молоствов М. Прямые, которые не пересекаются. М., 2000.

[45] Молоствов М. Ревизионизм-58.http://scepsis.ru/library/id_1328.html

[46] Молоствов М. Там же.

[47] Вайль Б. Указ. соч. С. 137.

[48] Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежнев. 1953-1982. М., 2005. С. 352-354.

[49] 58/10. Надзорные производства прокуратуры СССР. С. 370.

[50] Ронкин В. На смену декаблям приходят январь. М., 2003. С. 72.

[51] Ронкин. Указ.соч. С. 74.

[52] Там же. С. 164.

[53] Ронкин В. Указ.соч.. С. 167-168.

[54] Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. С. 332.

[55] Молоствов М. Ревизионизм-58.

[56] Вайль Б. Особо опасный. С. 199.

[57] Ронкин В. «Колокол» в кн.: Самиздат. По материалам конференции «30 лет независимой печати. 1950-80-е годы», Санкт-Петербург, 25-27 апреля 1992 г. НИЦ «Мемориал», Спб., 1993 г. С. 68.

[58] Вайль Б. Указ. Соч. С. 220.

[59] 58/10. Надзорные производства прокуратуры СССР. С. 532. О ней же: Иофе В. Тридцать лет назад, на том же месте. С. 6.

[60] 58/10. Указ соч., 470. Иоффе В., Указ соч. С. 6.

[61] Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс... М., 1997. С. 338.

[62] Там же. С. 371.

[63] Там же. С. 374.

[64] Григоренко П. В подполье... С. 392.

[65] Даниэль А. Диссидентство: культура, ускользящая

от определений в кн.: РОССИЯ/RUSSIA. Вып. 1 [9]: Семидесятые как предмет истории русской культуры. М.: О.Г.И., 1998. С. 115.

[66] Иофе В. Тридцать лет назад, на том же месте. С. 6.

[67] Иофе. Там же; Вайль Б. Особо опасный. С. 171.

[68] Шубин А. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008. С. 204.

[69] Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежнев. 1953-1982. М., 2005. С. 318.

[70] Власть и диссиденты. Из документов КГБ и ЦК КПСС. М., 2006. С. 195.

[71] Шубин А. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008. С. 184.

[72] Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е — 1980-е. Под общей редакцией В. В. Игрунова. Составитель М. Ш. Барбакадзе. В 3-х томах. М., Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. Т.2. С. 141.

[73] Р. Медведев. Книга о социалистической демократии. Фонд Герцена, Амстердам-Париж, 1972. С. 63.

[74] Медведев Ж., Медведев Р. Солженицын и Сахаров. Два пророка. С. 48.

[75] Там же. С. 49.

[76] Там же. С. 53.

[77] Политический дневник. 1964-1970. Фонд Герцена: Амстердам, 1972. С. 349.

[78] Там же. С. 377.

[79] Там же. С. 386.

[80] Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. С. 328.

[81] Антология самиздата. Т.2 С. 324-334.

[82] Медведев Ж., Медведев Р. Солженицын и Сахаров. Два пророка. С. 74.

[83] Цит. по.: Медведев. Там же.

[84] Из-под глыб . Париж, 1974. С. 15.

[85] Там же. С. 125.

[86] Две пресс-конференции. Париж, 1975. С. 9.

[87] Медведев Ж., Медведев Р. Указ соч. С. 351.

[88] Шубин А. Указ. Соч.С. 184.

[89] Комарова Н. Книга любви и ненависти. Париж, 1994. С. 164.

[90] Боффа Д. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964-1994. Гл.V. Власть и диссидентство http://secpis.ru/library/id_815.html

[91] Кагарлицкий Б. Эпоха тупиковых дискуссий.

[92] Псевдоним Элькона Георгиевича Лейкина, экономиста, сторонника «правой оппозиции» конца 1920-х и многолетнего заключенного сталинских лагерей.

[93] Зимин А. Социализм и неосталинизм. Chalidze Publications, N.-Y., 1981.

[94] Зимин А. У истоков сталинизма 1918-1923. Париж, 1984.

[95] Зимин А. К вопросу об историческом месте общественного строя СССР. В кн.: «XX век», Кн.2, М.,1975.

[96] Зимин А. Социализм и неосталинизм. С. 23.

[97] Там же. С. 90-96.

[98] Зимин А. Указ.соч. С. 145.

[99] Там же. С. 127.

[100] Там же. С. 169-170.

[101] Там же. С. 135.

[102] Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс... С. 468.

[103] Лубянка-Старая площадь. Секретные документы ЦК КПСС и КГБ о репрессиях 1937-1990 гг. в СССР. М., 2005. С. 44.

[104] Григоренко П. Указ.соч. С. 470.

[105] Лубянка – Старая площадь. С. 39.

[106] Лерт Р. На том стою. М, 1991. С. 131.

[107] Лерт Р. «Не поминайте лихом...». Париж, 1986. С. 313.

[108] Подробнее об этом – в кн. П.Абовин-Егидес. Философ в колхозе. М., 1998.

[109] Дзюба И. Интернаціоналізм чи русифікація? <http://litopys.org.ua/idzuba/dzo8.htm>

[110] Григоренко П. Указ.соч. С. 590.

- [11] Плющ Л. На карнавале истории. London, 1979.
- [112] Діалог № 5-6, 1981. С. 177.
- [113] Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні. 1956-1987. Харьков, 2003. С. 66.
- [114] Захаров Б. Указ. соч. С. 66.
- [115] «Мое последнее слово». Речи подсудимых на судебных процессах 1966-1974. Вольное слово. Выпуск 14-15. Изд-во Посев. Франкфурт, 1974. С. 42-43.
- [116] 58/10. Надзорные производства Прокуратуры СССР. С. 790.
- [117] Материалы самиздата. Выпуск №37/81, 2 октября 1981. Архив Института Восточной Европы. Бремен.
- [118] По признанию Скуодиса, с автором напечатанного в «Перспективах» текста «Будущее» Гимантаутасом Ешиманасом он лично познакомился только на судебном процессе по делу их группы. «Nors esu gamtininkas, bes tavo dvasioj – humanitaras“ (Solveigos Daugirdaitės pokalbis su Vytautu Skuodžiu), In: Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 286. [«Хотя я и естественник, но в сердце – гуманитарий (Солвейга Даугирдайте беседует с Витаутасом Скуодисом)», в кн.: Многосмысленные ситуации: беседы о литературном поле советского периода (Составитель Римантас Кмита). Вильнюс: Институт литовской литературы и фольклора, 2015, с. 286].
- [119] Алексеева Л. Указ. соч. С. 336; 58/10. Надзорные производства Прокуратуры СССР. С. 792.
- [120] 58/10. С. 662; Диалог. №3, 1977. С. 85.
- [121] 58/10. С. 687.
- [122] 58/10 С. 692; Диалог. №3. С. 85.
- [123] Диалог. Там же.
- [124] Форум. Общественно-политический журнал. Мюнхен. №4. 1983. С. 64.
- [125] 58/10. С. 708, 711.
- [126] Подробнее о группе – в кн. Ю. Вудка Московщина. Лондон., 1978 (укр.).
- [127] 58/10. С. 725.

- [128] 58/10. С. 714. Иофе В. Указ.соч. С. 6.
- [129] 58/10. С. 720; Диалог. С. 85.
- [130] Вольное слово. Вып.7. – Амстердам. 1973. С. 105.
- [131] Диалог. №3. С. 86.
- [132] Там же.
- [133] 58/10. С. 700.
- [134] 58/10. С. 733.
- [135] Тарасов А. В кн: Левые в России: от умеренных до экстремистов. – М.,1997. С. 12.
- [136] 58/10. Там же.
- [137] Тарасов А. Указ.соч. Там же.
- [138] Подробный анализ социалистических групп в Ленинграде 1970-х – в ст.: Е. Казаков, Д. Рублев. «Колесо истории не вертелось, оно скатывалось». Левое подполье в Ленинграде, 1975–1982. <http://www.nlobooks.ru/node/4019>
- [139] Тарасов А. Там же.
- [140] Диалог №3. 1980 С. 24.
- [141] Диалог№3. Там же.
- [142] Диалог №3. С. 13.
- [143] Тарасов А. Указ. Соч. С. 13.
- [144] Диалог№3. С. 19.
- [145] Тарасов А. Указ.соч. С. 14.
- [146] Подробнее – в кн. Шубин А. Преданная демократия. СССР и неформалы (1986-1989). М., 2006.
- [147] Разлацкий А. Второй коммунистический манифест. Новосибирск. 1991.
- [148] Разлацкий А. Кому отвечать? Новосибирск. 1991.
- [149] В.Ерофеев. Бунтари советского периода. <http://istprof.ru/1329.html>
- [150] Разлацкий А. Второй коммунистический манифест. С. 33-38.
- [151] Там же. С. 41-46.
- [152] Разлацкий А. Указ.соч. С. 55.
- [153] Ерофеев В. Бунтари советского периода.
- [154] В начале 1980-х Виктор Сокирко станет лидером группы «В защиту экономической свободы», провозгласив-

шей своей целью борьбу за отмену 153 Ст. УК РСФСР («Частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредничество»). В рамках группы Сокирко пытался объединить и политизировать нелегальных предпринимателей. (Valeriy M. Rutgaizer. The Shadow Economy in the USSR, Berkeley-Duke Occasional Papers on the Second Economy in the USSR Paper No. 34, February 1992. P.21).

[155] Поиски. Обзор самиздатских выпусков №1-8 (1978-1980). М., 2003. С. 24.

[156] Кагарлицкий Б. Эпоха тупиковых дискуссий.

[157] Поиски взаимопонимания. (1978-1998). М., 2003. С. 23.

[158] Ронкин В., Хахаев С. Прошлое и будущее социализма. Сайт Валерия Ронкина <http://ronkinv.narod.ru/pro.htm>

[159] Ронкин В., Хахаев С. Указ.соч.

[160] Поиски: провалившееся восстание. Интервью с Г. Павловским <http://magazines.russ.ru/nz/2007/2/ka8.html>

[161] Поиски. Свободный московский журнал. №4, Нью-Йорк, 1982. С. 60.

[162] Курьер Демократического объединения № 3, 1982. С. 17.

[163] Форум. Общественно-политический журнал. №3, 1983.

[164] Форум №3. С. 74.

[165] Там же. С. 76.

[166] Беседа с Б. Кагарлицким, 12.09.2006.

[167] Беседа с Б. Кагарлицким.

[168] Кагарлицкий Б. Диалектика надежды. Изд-во «Слово». Париж, 1988. С. 70.

[169] Кагарлицкий Б. Эпоха тупиковых дискуссий. <http://magazines.russ.ru/nz/2007/2/ka8.html>

[170] Кагарлицкий Б. Диалектика надежды. С. 116.

[171] Там же. С. 165.

[172] Беседа с Б.Кагарлицким 12.09.2006.

«Сатанинская мельница» и машинист Петерсон

[1] Карл Поланьи. Великая трансформация. Спб., Алетейя. С.70. 2016 г.

Две очереди

[1] И. Шафаревич. Социализм. <http://vehi.net/samizdat/izpodglyb/02.html>

[2] Юрий Дружников, «WashingtonPost», July 15, 1979. Перевод с английского <http://lib.ru/PROZA/DRUZHNIKOV/01YaRodilsia.txt>

[3] Михаил Эпштейн. Бог деталей. Эссеистика 1977-1988. М., 1998. С. 54-60.

[4] Елена Осокина. Прощальная ода советской очереди «Неприкосновенный запас», 2005, №5(43) <http://magazines.russ.ru/nz/2005/43/oso10.html>

[5] На этом тезисе, в частности, основана ставшая культовой в 1980-х книга Яноша Корнай «Дефицит»

[6] Например, В. Николаев. Советская очередь: Прошлое как настоящее «Неприкосновенный запас» 2005, №5 (43) <http://magazines.russ.ru/nz/2005/43/niu.html>

Интеллектуалы и Холодная война: от трагедии к фарсу выбора

[1] Определение из книги: Зубок В.М. Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачев. Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). М., 2011.

[2] Подробно об этом — в книге Сондерс Ф. ЦРУ и мир искусств: культурный фронт Холодной войны. М., 2013.

[3] Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996. сс. 293-294.

[4] Текст обращения: <https://www.theguardian.com/world/2014/jan/03/support-ukrainians-build-fairer-europe>

[5] А.Дугин. Второе тело Владимира Путина. <http://evrazia.org/article/2536>

[6] Текст лекции Тимоти Снайдера «Украинская история, европейское будущее». <http://gefter.ru/archive/12373>

[7] Наиболее точный и беспощадный диагноз положения американских левых интеллектуалов представлен в эссе Ч.Р. Милса «Бессильные люди», написанном в 1944 году. (<http://>

www.nlobooks.ru/node/4706). Показательно, что упоминаемые в этом эссе С. Хук, А. Кестлер и Д. Макдональд через несколько лет превратятся в образцовых рыцарей Холодной войны.

[8] Артур Кестлер. Призрак грядущего. М., 2005.

[9] The God That Failed. New York: Harper, 1949.

[10] Жан-Поль Сартр. Попутчик коммунистической партии <http://noblit.ru/node/1407>

Наследие без наследников

[1] Послание В. Путина Федеральному собранию. 01.12.2016

<http://kremlin.ru/events/president/news/53379>.

[2] Luxemburg Rosa.(1972) Selected political writings (Writings of the Left). Edited and introduced by Robert Looker, NY, Random House 1972, p. 227.

[3] The Gramsci Reader. Selected Writings 1916-1935/N.-Y.: — New York University Press, 2000. P. 32.

[4] The Gramsci Reader. Selected Writings 1916-1935/ N.-Y.: — New York University Press, 2000. P. 36.

[5] Акцент на решающей роли самоорганизации петроградских рабочих, заставлявшей партию большевиков часто пересматривать их тактические установки, является важным для «ревизионистской» традиции американских историков, изучавших Русскую революцию. Например: А. Рабинович, «Большевики приходят к власти»(М.: Прогресс, 1989) и Д.Мандель «Петроградские рабочие в 1917 году» (М.: Новый Хронограф, 2015).

[6] Д. Лукач. Политические тексты. М. Три квадрата, 2006 С. 5-14.

[7] Там же С. 18.

[8] Там же. С. 72.

[9] Там же С. 10.

[10] В. Беньямин. К критике насилия, в кн.: Беньямин, Вальтер. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. С. 66-98.

[11] В.И. Ленин, ПСС, М., 1967. Т.33. С.39 (Государство и революция, глава 3).

[12] А. Грамши. Партии, государство, общество. Из тюремных тетрадей. http://www.hrono.ru/libris/lib_g/gramscio4.html.

[13] Г. Лукач. Социалистический реализм сегодня. А. И. Солженицын в зеркале марксистской критики http://scepsis.net/library/id_693.html.

[14] С. 56 настоящей книги. См. например, Молоствов М. Ревизионизм-58. (http://scepsis.net/library/id_1328.html); Вайль Б. Особо опасный. Харьков, 2005. С. 199.

[15] Выступление Владимира Мединского на Круглом столе «100 лет Великой российской революции: осмысление во имя консолидации», май 2015. <http://www.pravmir.ru/osmyslenie-vo-imya-konsolidatsii-k-100-letiyu-revolyuitsii-1917-goda/>.

[16] Владимир Мединский: К 1917 году Сирия уже была наша. И тут явился Ленин <http://www.kp.ru/daily/26466.3/333511/>).

[17] Жозеф Де Местр, Рассуждения о Франции. Глава 2. http://www.e-reading.club/chapter.php/97551/4/de_Mestr_-_Rassuzhdeniya_o_Francii.html.142

[18] А. Де Токвиль. Старый порядок и революция. Спб., Алетейя, 2008. С. 20.

[19] Франсуа Фюре. Постыжение Французской революции. СПб., “ИНАПРЕСС”, 1991.

[20] В Каносу. Политическая история русской эмиграции. 1920-1940 гг. Документы и материалы. М., 1999. С. 190-195.

[21] Н. Устрялов, Россия (У окна вагона). http://lib.ru/POLITOLOG/USTRYALOV/rossia.txt_with-big-pictures.html.

[22] Н. Устрялов, Понятие государства. http://www.lib.ru/POLITOLOG/USTRYALOV/ustrqlow7.txt_with-big-pictures.html.

[23] Н.Устрялов. Patriotica. “Смена вех”. Прага, 1921.

[24] Резолюция «Об антисоветских партиях и течениях»

Всероссийская конференция РКП(б). Постановления и резолюции, М., 1922.

[25] А. Луначарский, «Смена вех интеллигентской общности». <http://www.magister.msk.ru/library/politica/lunachar/lunaa004.htm>

[26] Ж. Деррида. Призраки Маркса. М., 2006. С. 32.

Тексты, вошедшие в этот сборник, публиковались в «Художественном журнале», «Сеансе», E-Flux и «Открытой левой». Исторический очерк «Диссиденты среди диссидентов» публикуется впервые.



В СЕРИИ «НОВЫЕ КРАСНЫЕ» СВОБОДНОГО МАРКСИСТСКОГО
ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЫШЛИ КНИГИ:

ИВАН ОВСЯННИКОВ
В ЗАЩИТУ БОЛЬШИНСТВ

МАРИЯ РАХМАНИНОВА
ЖЕНЩИНА КАК ТЕЛО

ОКСАНА ШАТАЛОВА, ГЕОРГИЙ МАМЕДОВ
КВИР-КОММУНИЗМ ЭТО ЭТИКА

ИЛЬЯ БУДРАЙТСКИС
ДИССИДЕНТЫ СРЕДИ ДИССИДЕНТОВ

КИРИЛЛ МЕДВЕДЕВ
АНТИФАШИЗМ ДЛЯ ВСЕХ

